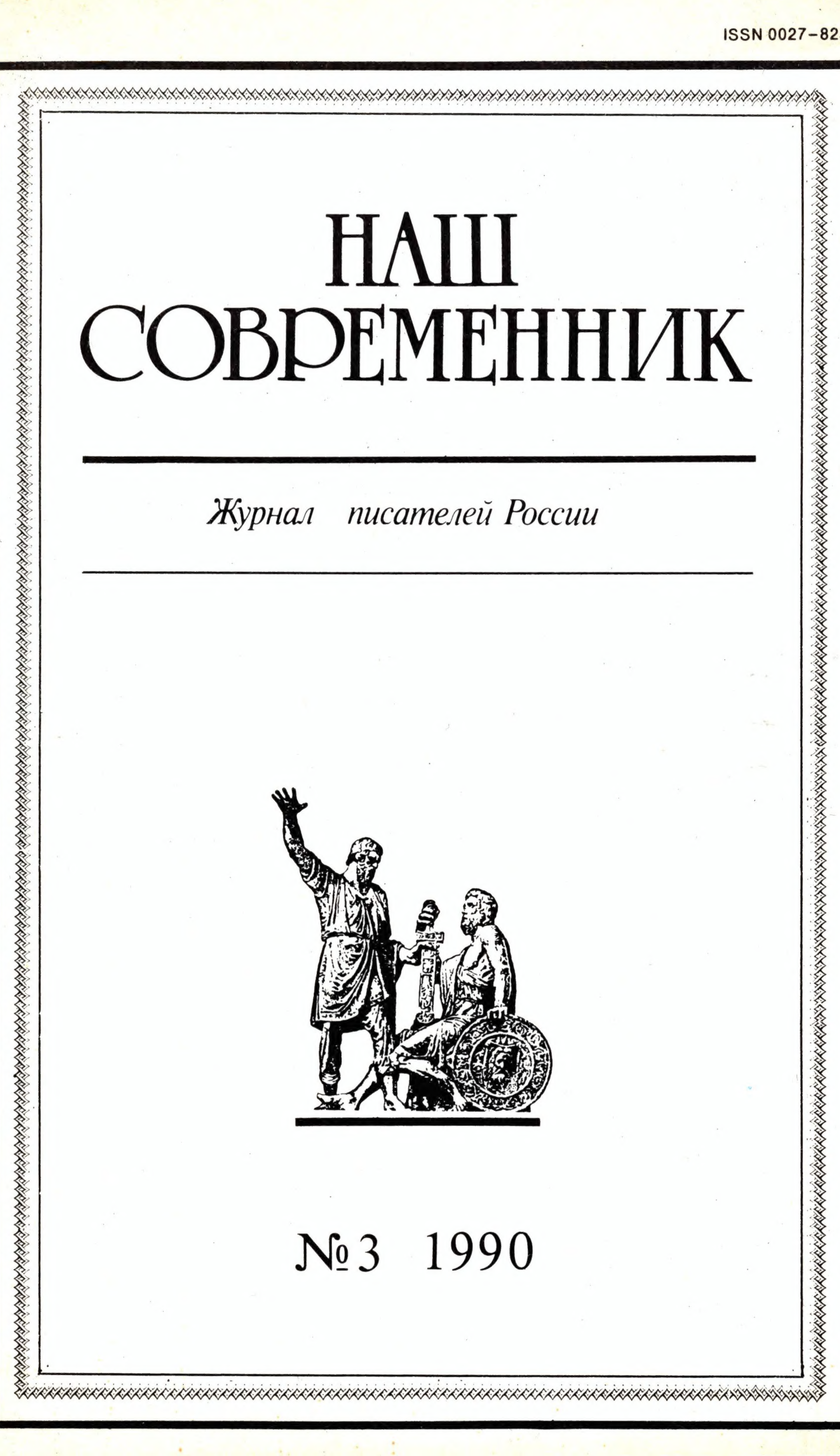
ISSN 0027-8238



НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№3 1990



СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА.

Художник И. Шилкин.

"Слово художнику" читайте на стр. 192

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№3 1990



◻

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»
МОСКВА

Содержание

ПРОЗА

Анатолий ТКАЧЕНКО — Жизнь вокруг нас. Рассказы — 5
Михаил ЧВАНОВ — Вещий Игорь. Рассказ — 18
Александр СОЛЖЕНИЦЫН. — КРАСНОЕ КОЛЕСО. Повествованье в отмеренных сроках. Узел II. Октябрь Шестнадцатого. Продолжение — 27

ПОЭЗИЯ

Валентина ЯКУНИЧЕВА, — Одна любовь — 3
Надежда МИРОШНИЧЕНКО — С тобой я — Надежда! — 15
Геннадий СТУПИН — Ради грядущего — слово былого — 23
Виктор КОРОТАЕВ — До крайнего дня — 92

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

В. П. МИШИН, Г. М. САЛАХУТДИНОВ — Человеческая ориентация развития космонавтики — 94
Ю. М. БОРОДАЙ — Кому быть владельцем земли — 102
Фатей ШИПУНОВ — Великая замятня. Окончание — 120

История Отечества: документы и судьбы

Игорь ДЬЯКОВ — Забытый исполин — 131
П. А. СТОЛЫПИН — «Нам нужна великая Россия» — 142

КРИТИКА

Валентин РАСПУТИН — Cherchez la femme — 168
Татьяна ОКУЛОВА — «Нам добрые жены и добрые матери нужны...» — 173

В конце номера

А. В. МИХАЙЛОВ — О достоинстве нищего богача — 188

Слово художнику

И. ШИЛКИН — Сельская учительница — 192



Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **Н. М. Данич, М. И. Кононова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-23-88 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией), 200-24-76 (отдел писем)

Сдано в набор 12.12.89. Подписано к печати 21.02.90. А-13400
Формат 70×108[1]/16. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 488295 экз. Заказ 2608
Цена 80 коп.

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

19′

(Общество, правительство и царь — 1915)

С первых дней этой войны кадеты попали в неожиданное и сложное положение. Даже не в днях первых, а в самых первых часах всеобщей мобилизации во всенародном и даже общественном настроении властно проступил тот самый «патриотизм», которым до сих пор бранились и о котором даже думать забыли как о реальности. И выступить против этой войны, как выступали против японской,— сразу оказалось невозможным. И невозможно стало вообще поносить правительство, как делали всё время,— потому что оно внезапно оказалось популярным. И кадетским лидерам оставалось определить:

Да будут забыты внутренние распри. Да укрепится единение царя с народом.

Не возомнить, что кадеты полюбили царя, но уже формировался у них проницательный дальний расчёт: вступив в войну в союзе с Англией и Францией, русский император сам себя отдал в руки великих западных демократий, и будущая победа будет — уже не царя, но — свободной русской общественности. Довольно быстро кадеты сообразили и нашли даже вкус в патриотизме: не в примитивном дикарском смысле — к России как обиталищу русского духа, но — к государству, крепко сколоченному, твёрдо ставшему, в котором есть где пожить и есть чем поуправлять, войдя в наследство.

Отложим наши споры... Удержать положение России в ряду мировых держав...

Неяркий, но в своих средних решениях упорнолобый, Милюков протолкнёт черезо всю войну:

Константинополь и достаточная часть примыкающих берегов, Hinterland... Ключи от Босфора и Дарданелл, Олегов щит на вратах Царьграда — вот *заветные мечты русского народа* во все времена его бытия.

Ну и добавочно:

Защита культуры и духовных ценностей от варварского набега германского милитаризма. Эта война — во имя уничтожения всякой войны.

Продолжение. Начало в №№ 1, 2 за 1990 год.

И Милюков с Пуришкевичем в Думе публично обменялись рукопожатием.

Но так безотказно поддержав свою ненавидимую отечественную власть, в какое же кадеты попали положение? — идти в хвосте за правительством? Немыслимо! К такой роли они не привыкли! Значит, у них не было теперь иного выхода, как опередить правительство в патриотизме и даже в самой борьбе с германским милитаризмом. И даже оттеснять правительство от многого, что связано с войной (не от ведения военных действий, конечно), и тем временем захватывать повсюду как можно больше видных мест.

В соревновании перехватывать себе отрасли вокруг войны помогли Земский Союз и новосозданный Союз Городов (вскоре почти слитные под именем Земгора). В чрезвычайной атмосфере первых дней войны они получили у Государя разрешение на помощь больным и раненым воинам на государственные средства — и при этом оказались не связаны никакими формальностями в расходовании казённых денег, ни отчётами, ни сметами, ни штатами, ни размерами окладов, — ибо не могли допустить государственных контролёров из общественной гордости. Они необузданно платили своим служащим в 3—4 раза больше, чем на таких же должностях у казны. А так как работа в Союзах ещё и освобождала от военной службы, то они быстро и беспрепятственно набирали численность. Ещё Союзы сами выбирали и области работы, дающие наибольший внешний эффект и симпатии общества, а казне невыгодно доставалось обслуживать всё подряд. Правительство не смело препятствовать, уже так довольное общественной поддержкой.

И ещё не все были исчерпаны у кадетов возможности, как постепенно подрывать престиж правительства. Например, им неплохо удалось превратить в издевательство сухой закон. В первые дни войны, создавая очищенную народную атмосферу, Государь распорядился отменить (государственную монопольную) продажу водки в России. Это собрало правительству всенародное сочувствие. И тогда кадеты публично предложили: а пусть правительство запретит и всем частным торговцам всякую продажу всякого вина, даже и слабого виноградного. Расчёт был: если правительство откажется, значит, оно покажет, что с водкой лицемерило, но хочет спаивать другими средствами, чтобы увеличить доход с акциза. Правительство — клюнуло приманку и согласилось, был провозглашён запрет всеобщий. Но так создалась, выяснилась с месяцами всеобщая нелепость: торговля вином лишь была загнана в тайную продажу, озлобляя многих.

Такие манёвры то и дело представлялись кадетам, иногда местные, и они их нигде не упускали.

И всё же несколько месяцев вынужденная лояльность кадетов была поразительна — правда, тем облегчена, что не было в стране ни студенческого движения, ни социалистического, все сидели тихо, кроме единственной большевистской фракции Думы. И когда в феврале 1915 её судили (по обвинениям совсем пустяшным: составление прокламаций — «смести с лица земли царское самодержавие! за горло его и колено ему в грудь!», «у нас нет врагов по ту сторону границы», для России благо, если победит Германия, шифры, фальшивые паспорта и подготовка вооружённого восстания) — кадеты удержались от своего постоянного долга влево и не вступились за судимых депутатов.

И, как всё-таки принято в людском общении, имели они право за такую долгую лояльность ожидать и каких-то ответных уступок от власти: укрепления Думы, благожелательного акта евреям, амнистии революционерам. Но не последовали ни амнистия, ни благожелательный акт. Кадетского подвига власть не вознаградила.

А так далеко вклинились между российским обществом и российской властью — раздор, недоверие, подозрение, хитрость, в таком взаимном разладе они вступили в войну, что даже оба теперь желая победы, подозревали другое в пораженчестве.

Что война сразу потекла дурно — долго не ведали думские круги, заставленные щитами сводок о наших блестящих победах в Галиции. И когда Гучков первый, ещё осенью 1914, приехал из Действующей армии и привёз преувеличенные вести, что всё разваливается, что война «уже почти проиграна»,— вечно оппозиционные кадеты не поверили этому разгорячённому бретёру, постоянному хвастуну в знании армейских дел. Только к январю 1915 через бюджетную комиссию Думы стали они что-то узнавать и понимать о недостатках со снарядами и снабжением. Но и на закрытых заседаниях комиссий жизнерадостный, упоённый собой Сухомлинов напевал так же несмущённо, как всё в армии хорошо. В январе 1915 на кадетских закрытых заседаниях уже

было решено, что конфликт с правительством возобновляется. Но на открытой сессии Думы — насмешно короткой, трёхдневной, чем выражало правительство, что не нуждается в Думе,— Милюков сохранял прежде взятую линию: хотя правительство и пользуется перемирием с оппозицией, чтоб укрепиться во внутренней политике,— а кадеты не вступят в публичную борьбу: не подрывать бодрость армии, не давать пищу злорадству противника.

Это был уже не тот Милюков, приглашавший студентов к террору (с тех пор и ему ведь грозили покушениями, а это совсем не приятно) и примирявший конституцию с революцией,— погосударственел он и сильно поосторожнел. Да и нехотно было идти на штурм власти, когда так немо молчали студенты и так пугливо социалисты. Кадетам приходилось занимать первый ряд?

Коротка была январская сессия, но Дума ещё и не настаивала на долгих: при длящемся перемирии с правительством думцы сами не знали, как вести себя. Однако в мае вернулся с фронта председатель Думы Родзянко и нарисовал уже такую картину грандиозного отступления — едва ль не до Западного Буга! — что стало невозможно дальше молчать: правительство явно губило Россию — и не з а г о в о р ли это был? Нарочно отдать страну под немецкий сапог, чтобы подавить общественность? Один за другим тут сдали и Перемышль (взятие которого праздновали так недавно и так необдуманно, с поездкою самого Государя), и пресловутый, столь отпразднованный Львов. Ещё как бы в насмешку возглавлял правительство никто иной, как двубородый царедворец Горемыкин — ослабелый 75-летний старик, он никак не умирал, непотопимый статс-секретарь: он был министром внутренних дел ещё до Столыпина, до Плеве, до Сипягина,— но тех всех убили подряд, а он, чередуясь с обречёнными, не попал ни под одну революционную бомбу — хотя разогнал 1-ю Думу. И теперь, как старая шуба, вынутая из нафталина, снова был в употреблении. Всех поражало, что во главе правительства в такое грозное время — дряхлый старик.

Современникам не бывает известна тайная подкладка правительственных перемещений. Прошёл, правда, в обществе слух, что министру земледелия Кривошеину не раз предлагали быть министром-председателем, и как будто многие были к тому данные, и в кабинете он состоял уже семь лет, дольше всех, — а вот почему-то не он.

И действительно, это было собственное решение Кривошеина — не принять место премьера, предложенное ему уже не раз. И даже к этой проблеме — единосогласного кабинета, он имел касательство самое внутреннее и давнее: это он был автором проницательной докладной записки Государю летом 1905 года, ещё до взрыва революции: в русском правительстве все министры рассогласованы, каждый из них подчиняется непосредственно царю и на короткое время после доклада как бы выражает высочайшую волю и тем менее считается со своими коллегами. Это напоминает состояние правительства Людовика XVI в момент созыва Генеральных Штатов. Между тем созываемой Думе должна быть противопоставлена сильная объединённая власть, и недопустима оппозиция правительству в нём самом. Тень революционной Франции произвела впечатление на Государя, он чуток был к истории, и он хотел это условие включить в Основные Законы 1906 года — однако снова колебнулся, отговаривали, не включили,— и правительство поплыло дальше без неотклонимого регламента. (Да если правительство будет жёстко объединено — то не оказывался ли самодержец в стороне?..)

В кругу русских государственных людей Кривошеин был фигурой выдающейся. Не принадлежа к высоким ветвям и не имея высоких знакомств, всем своим восхождением он был обязан лишь собственным талантам и усилиям. На правительственной службе он состоял уже так долго, что казался «бюрократом по крови». Но совпадая с другими в погоне за успехом, болезненном переживании неудач, он отличался от них большим политическим смыслом, жаждой делать крупные дела,— плодоносный государственный тип. Вместе с тем он и знал пределы своего возможного взлёта: у него не было столыпинской воли творить Историю, стать вождём. Итак, при его осмотрительности, тонком чутье, он избегал занять самое первое место (да оно и стягивает людскую зависть и ненависть), но избрал находиться близко к нему, чтобы сохранять преимущества реальной власти. Его характер был — направлять события, но не брать полной ответственности за них, не имея уверенности в полной удаче, да ещё зная надёжность царского характера. Кривошеин имел поразительную чуткость угадывать смены настроений и авторитетов, благовременность шагов и действий. Он слыл устойчивым консерватором, был лично хорош с бюрократией, с придворными кругами, с каждым, кто становился влиятельным, даже стал близок царской чете, мил императрице (через

русские кустарные промыслы), доверенный советчик царя (и это он написал возвышенный царский манифест об объявлении германской войны), — но и, когда-то верный сподвижник ненавистного обществу Столыпина, с годами всё более приятен и приемлем для общества, а с крутым своенравным московским купечеством так и прямо связан через жену, Морозову (одновременно и обеспечен денежно всегда). Он был готов и к Столыпину, с 1896 года уже возглавляя Переселенческое управление, и к его земельной реформе (он раньше Столыпина уже работал в кругу этих проблем, но не имел волевого решения избрать спорящую сторону), и после смерти Столыпина много лет честно дорабатывал и реформу общины, и укрепление земледелия и землеустройства, и переселенчество, и довёл их за зримый победный перевал,— но при этом широко и доверчиво использовал общественную самодеятельную помощь, в земстве доверял «третьему элементу», и тем благорасположил общество, особенно же своим небольшим киевским тостом в 1913 году:

> В таком огромном государстве, как Россия, нельзя всем управлять из одного центра, необходимо призвать на помощь местные общественные силы и в их распоряжение предоставить материальные средства. Я считаю, что отечество наше лишь в том случае может достигнуть благоденствия, если не будет больше разделения на пагубное «мы» и «они», разумея под этим правительство и общество, а будут говорить просто «мы» — правительство и общество вместе.

Он искал выход из конфликта, действительно основного для России с XIX на XX век: как прорвать органическое непонимание правительства и общества? Он решался стать посредником между ними. (Впрочем, кадетская «Речь» увидела в этом призыве бессилие и капитуляцию правительства. И министр-председатель Коковцов тоже выговаривал за него как за капитуляцию.) Ещё умел Кривошеин, 7 лет министром, сохранять лучшие отношения с Думой, через личные отношения с влиятельными депутатами, и получать кредиты для земледелия,— и ни разу не выступить в самой Думе: в таком бы выступлении пришлось бы чётко формулировать взгляды и действия, а значит не угодить либо обществу, либо Верховной власти. А Кривошеин достигал невозможного: одновременного доверия и Государя и Государственной Думы!

Весть об убийстве Столыпина застала Кривошеина в Крыму, на даче. Его положение в кабинете было уже настолько видным, что он мог теперь ждать предложения занять пост премьера. Но — не хотел бы его принять. Однако в тот момент и отказаться было крайне неудобно: это выглядело бы как боязнь террористов. А Государь как раз ехал в Крым! Кривошеин же поспешил разминуться с ним, умчавшись в Киев на похороны.

Но то же самое увенчание карьеры было предложено ему Государем в Ливадии через 2 года — и Кривошеин уже открыто отказался, сославшись на болезнь сердца, что придётся публично выступать, а он слишком волнуется во время выступлений. Роковую черту высшей власти он переступить не посмел, у него не хватало дерзновения. А между тем уже становилось тесно ему в кабинете под рукой сухого Коковцова, и к тому же Коковцов, как министр финансов, более всего заинтересованный не в развитии производительных сил страны, но в накоплении мёртвого золотого запаса, отказывался широко кредитовать развитие земледелия и землеустройства («такая бережливость разорительнее самых безрассудных трат», — говорил Кривошеин). Чтобы сменить финансовый склероз развитием, Кривошеину же было и необходимо сменить Коковцова. На путях государственных интриг пригождаются и самые подозрительные карты: вот — правый князь Мещерский, утерявший прежнее царское благоволение, но Кривошеин всегда предвидел, что они снова сдружатся с Государем, из-за сходства взглядов на природу царской власти, и поддерживал субсидиями журнал князя,— и верно, Мещерский вернулся в фавор и теперь помог Кривошеину менять правительство: как министра финансов заменить Коковцова преданным Барком, а как премьер-министра — ?.. Мещерский уговаривал Кривошеина принять пост самому. Но — снова отказался Кривошеин и предложил старика Горемыкина, с которым был в наилучших отношениях ещё с того давнего времени в конце прошлого века, когда министр Горемыкин сильно способствовал продвижению чиновника Кривошеина, а теперь мог занять высокий пост временно, не мешая Кривошеину вести власть в кабинете реально, а если понадобится — то старик и охотно уступит пост премьера. (Настоящей власти после Столыпина никому не дадут,— объяснял Кривошеин близким,— при ревнивой подозрительности Государя премьеру достаётся больше ответственности, чем власти. А Коковцов, почти

повторяя Столыпина: «В России первому министру опереться не на кого. Его жалуют, пока он не выдвигается слишком определенно в общественном мнении и не играет роль действительного правителя.») Вот такой длинной скрытой историей объяснялось, что в начале рокового 1914 дряхлый уступчивый Горемыкин возглавил правительство цветущей могучей России.

В этом правительстве Кривошеин и состоял фактическим премьером, и в конце 1914 ещё усилил свои позиции, введя в министры просвещения либерального земца графа Игнатьева, своего сторонника. (Царь, исключительно памятливый на лица и встречи, согласился охотно: он помнил, как 21 год назад граф Игнатьев, унтером преображенцев, был отличным запевалой после утомительных манёвров. Как вскоре затем и князь Шаховской был назначен министром торговли-промышленности при благодарной государевой памяти, как он в столыпинском сентябре благоустроил речную поездку Государя из Киева в Чернигов по плохосудоходной Десне, а в май 300-летия династии — чудесную поездку по Волге, и к тому же отлично совершенствовал и крымские шоссе, по которым Государя возили с большой скоростью.) Горемыкин преднамеренно выдвигал Кривошеина на первый план и предоставлял ему действовать. По всем крупным вопросам они были согласны до лета 1915 года. Влияние Кривошеина распространилось и на общую политику, и на иностранную (было хорошее понимание с Сазоновым). Он носил звание «статс-секретаря Его Величества», и это давало ему право устных приказаний от имени Государя. Однако в правительстве сохранялась группа министров, никак ему не подчинявшихся или в устойчивой оппозиции справа: Сухомлинов, Николай Маклаков, Щегловитов, Саблер. Внутренний конфликт вёл к тому — в интересах единосогласности правительства — чтоб от этих министров освободиться. На заседаниях кабинета Кривошеин и Сазонов делали вид, что не видят и не слушают Маклакова. Отступление Пятнадцатого года ускорило события.

Полгода войны при сияющем оптимизме Сухомлинова и особенностях управления войсками, от которого правительство было отодвинуто, министры разделяли общее незнание о недостатках военного снабжения. Лишь в феврале 1915 года из частного разговора в Ставке Щегловитов и Барк узнали о катастрофической недостаче снарядов. Тут накладывалось весеннее отступление и возбуждение общественной оппозиции,— и среди министерского большинства возник тайный сговор — энергично убрать министров, ненавидимых обществом, иначе угрожая общей отставкой остальных. Первая мысль о том была Сазонова, а собирались тайно на квартире Кривошеина,— его кружок, и включая морского министра Григоровича, но без Горемыкина. Итак, возник мятеж внутри правительства! — но он казался благодейственным: успешное ведение войны возможно только в примирении правительства с общественностью. Сам Горемыкин не виделся им помехой, и слишком много было бы — просить убрать ещё и его. Все заменительные кандидатуры тотчас представил Кривошеин, он хорошо видел, кого брать.

Государь, хотя был возмущён, что одна группа министров сговорилась за спиной других («в полках так не делают»), но сдался: военные поражения смягчают к уступкам. Он был ошеломлён отступлением от Перемышля и Львова, не хотел ссориться ни со своими министрами, ни с обществом, и авторитет Кривошеина стоял у него высоко как никогда. И как ни сердечно любил Государь Николая Маклакова — он согласился снять его с внутренних дел.

Смена военного министра потребовала больших усилий: Кривошеин поехал в Ставку раньше, чем туда вызывались другие министры, и энергично убедил сперва Николая Николаевича на замену Сухомлинова Поливановым. (Поливанов был настойчивая кандидатура Гучкова, с которым Кривошеин и дружил и был связан родственно.) На июньском совете министров в Ставке, в Барановичах, торжественно распубликованная фотография, все министры в белых кителях,— не присутствовали Щегловитов и Саблер, и тем легче было тут же убедить Государя уволить и их. Горемыкин выполнял волю Кривошеина и тоже стремился к необходимому единству кабинета. Только министром юстиции назначили не кривошеинского кандидата, но горемыкинского — Хвостова-дядю. Зато уж обер-прокурором Синода был назначен Самарин, избранный Кривошеиным по его влиянию в Москве. Но объявленье о смене этих двух было задержано Государем до начала июля.

А ситуация — утекала. В июне кадеты на конференции сформулировали свои обиды на правительство. Военные неудачи и дурная организация тыла шли для них даже на последнем месте, а раньше того наболело: почему оказывается недоверие обществен-

ной помощи, раздражающее наблюдение за сношением интеллигентных работников с нижними чинами (отбираются у раненых книжки революционных лет)? почему так круто гнали галицийское униатство и нет уступок в еврейском и польском вопросах? почему осуждены большевистские депутаты, и террорист Бурцев, патриотически воротившийся из эмиграции, не почтён, но отправлен в ссылку? Кадеты клонились теперь к тому, чтобы начать публично критиковать правительство, главную беду видели в составе его (не насытясь двумя отставленными министрами) и главное излечение в дальнейшей смене лиц: так пересоставить правительство, хотя б из бюрократов, но симпатичных, чтоб оно пользовалось *доверием общества.* (Это был новейший кадетский ход. Словом «доверие» прикрывалось невозможное пока парламентское ответственное министерство. За такое легче агитировать, легче и добиться,— а потом оно постепенно превратится в «ответственное».) Кадеты намеревались теперь настаивать на созыве Думы и длительной сессии её.

Горячие головы предлагали собрать Думу *явочным* порядком, то есть не спросясь властей. Милюков охлаждал:

> Вся Россия сейчас повёрнута лицом в сторону фронта. А если Дума соберётся явочным, революционным порядком — на секунду вся Россия повернётся с изумлением посмотреть на зрелище, которое может радовать только наших врагов. А сама «явочная» Дума будет без труда распущена. И получится бледная скверная копия выборгского воззвания... Или звать на помощь выступление масс? Правительство не отдаёт себе отчёта, что происходит «во глубине России», но мы, интеллигентные наблюдатели, ясно видим, что ходим по вулкану. Характер сохраняемого равновесия таков, что достаточно лёгкого толчка, чтобы всё пришло в колебание и смятение. Это была бы вакханалия черни, новая волна мути со дна, которая уже погубила прекрасные ростки революции в 1905. Какова бы ни была власть — худа ли, хороша, но, твёрдая, она необходима сейчас более, чем когда-либо... Всё, что можно сделать, это — раскрыть глаза правительству и обновить кабинет без особого нажима.

Были голоса, что излечение страны — в амнистии революционерам и в кадетском правительстве, но лидеры — В. Маклаков, Шингарёв, Родичев, удержали, что всему тому не время, а надо помочь победе армии, даже забывая чистоту программы.

Отступление армий под Варшавой и едва ли не за Неман казалось современникам ни с чем не сравнимой военной катастрофой. Часть подробностей была в печати, другая нагонялась слухами. И кого же могла обвинить печать и молва, если не бездеятельное, неспособное, а может быть и злонамеренное правительство?

А царь молчал, замеревши в Царском Селе, как будто всё это отступление его не касалось, не на его земле происходило?

И на кого же могла быть надежда, если не на Государственную Думу? Думцы самочинно съезжались в Петроград и требовали длительной сессии.

Тем временем на правительство стали давить и Союзы, Земский и Городов. Всё более видели они своей дальнею целью не столько военную победу России, от которой будет ли ещё прок для свободы, а — занять политические позиции для будущих конституционных изменений. Теперь на своих съездах в июне, требуя созыва Думы, они предупреждали правительство крепчающим голосом:

> Тот, кто умеет работать, — тот и будет хозяином страны.

Усильно распространялось убеждение, что правительство и весь государственный аппарат работать не могут, и всё больше отраслей снабжения фронта захватывали Союзы. И власть, как будто признавая худшее, что о ней думали, безропотно отдавала новые и новые поля деятельности в воюющей стране — самозванным комитетам, не подчиняя их никакому единому руководству. Общественные организации настаивали на своём бескорыстии и своей талантливости — и не было голоса, кто посмел бы усумниться.

Правительство, избалованное 10-месячной молчаливой поддержкой Думы, именно в эти горячие июнь—июль 1915 оказалось обнажённым, упрекаемым и всеми поносимым. В сводках уже появилось Рижское направление, а из угрожаемых Либавы и Риги, из полутысячи их заводов, не вывозили станков (то распоряжался вновь возвышенный Курлов),— в таком раскалении снятие нескольких ненавидимых министров нисколько не ублажило разгневанное общество. 11-го июля Союзы самочинно созвали всероссийский *съезд о дороговизне* — раскалённую сковороду да бплеском! — что ещё

можно придумать жарче против правительства? — общество само собралось обсуждать дороговизну! (Позвали и рабочих.)

И верно, со стороны в отчаяние могла привести беспомощность, неуверенность, бездействие правительства, особенно в хаосе прифронтовых областей при отступлении. Невозможно было изобрести объяснение, и никто не давал его услышать гласно.

Мы ещё мало ведаем, как многое в великой истории народов зависит от ничтожных людей и ничтожных событий. В марте 1914 российский военный министр, болтун и царедворец Сухомлинов (более занятый капризами своей молодой красивой жены, чем обороной империи), рекомендовал императору назначить на пост начальника Генерального штаба — своего выслуженца, профессора военной администрации, вкрадчивого лже-военного генерала Янушкевича. Как всегда при нашем троне, такие важнейшие назначения легко решались по расположению к просящему, не слишком сообразуясь с качествами, нужными для должности. Этот ничтожный самоупоённый Янушкевич начерпал России столько зла, что достало бы трём выдающимся злодеям. Упущений довольно набралось и прежде него, но за 3 месяца в должности он не только ничего не исправил, а даже не осмыслил, что́ нуждается в исправлении. Так в июле 1914 он оказался без плана частичной мобилизации и был тем главным советником и действователем, кто втянул царя во всеобщую мобилизацию, не оставляя России избежать злосчастнейшей войны. И в тот же роковой день 16 июля он подсунул императору, и никогда не слишком ретивому к скучным бумагам, а тут истомлённому кризисными днями, подписать, не вникая, ещё толстую бумажную пачку — «Положение о полевом управлении войск».

По этому Положению, очень удобному для военных и для самого Янушкевича, поскольку он рассчитывал занять пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего,— военному командованию отводилась полнота прав кроме театра военных действий также и на всей территории развёртывания вооружённых сил (куда входили Петербург и даже Архангельск!) — и не оставалось прав Совету министров даже в самой столице, ни даже порядка его сношений с Верховным Главнокомандованием, ни — как решаются на территории развёртывания общегосударственные вопросы. Империя делилась на две отъёмные части: одна подчинена Ставке, другая правительству. Так один неконтролируемый случайный выскочка определил весь ход тыла.

Правда, Положение составлялось исходя из того, что Верховным Главнокомандующим будет сам Государь и примирит две части империи. Когда же оказался не он, то отмена военных распоряжений достигалась длинным путём: жалобою Государю, от него передавалось великому князю Николаю Николаевичу, а там всевластен был Янушкевич, который и объявлял правительству решение. Это ещё не проявилось резко, пока мы не испытали глубоких отступлений. Но с началом отступления 1915 года такое сношение и вовсе не успевало. Прежде армии покатились назад военные администраторы, распоряжаясь уже глубью страны. Невозможно было понять, чьи приказы следует выполнять. Приказывали любые этапные коменданты и прапорщики, а ответственных людей не было. Особенно хаотически производилась эвакуация, затеянная широко. Иным учреждениям давался приказ всего за несколько часов до сдачи города. Почти всем указывались места водворения без согласовки с теми губерниями, куда они направлялись. Так поезда с чиновниками, грузами и эвакуированные лазареты прибывали на места совершенно неожиданно, для них не было ни помещения, ни продовольствия.

Правительство повсюду теряло власть, но, ещё сложней и горше, оно не могло о том заявить публично, ибо это подрывало бы Верховную власть, императора, и даже до сих пор не жаловалось самой Верховной власти. Министров прорвало 16 июля — на секретном заседании, всегда следовавшим за открытым обычным. (Старательный секретарь Яхонтов донёс нам крупные обломки тех заседаний.) Когда остались одни, военный министр **Поливанов** заявил резко и театрально:

> Считаю своим гражданским и служебным долгом заявить, что **отечество в опасности**.

Наступило нервное молчание. Ещё никто не заявлял перед полным правительством так сенсационно. (Впрочем, группа министров частно встречалась на даче Кривошеина на Аптекарском острове, и они были подготовлены сегодня к этому выступлению.) Военный министр (но не военный человек), побывший в должности месяц и с трудом осведомлённый, но не замкнутою Ставкой, а по косвенным донесениям, теперь спешил заявить свои выводы. Приближаются моменты, решающие для всей вой-

ны. Пользуясь неисчерпаемыми запасами снарядов, немцы заставляют нас отступать одним артиллерийским огнём, не пуская в дело пехотные массы и не неся потерь, тогда как у нас люди гибнут тысячами. Нельзя предвидеть, чем и как нам удастся остановить наступление. Вера в военных вождей подорвана. Учащаются случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен. Людей вливают в боевую линию безоружными, с приказом подбирать винтовки убитых.

Поливанов: Но особенно чревато последствиями, о чём больше нельзя умалчивать: в Ставке — растущая растерянность, ни системы, ни плана, ни одного смело задуманного манёвра. Вместе с тем Ставка ревниво охраняет свои прерогативы и не считает нужным посоветоваться с ближайшими сотрудниками. Печальнее же всего, что правда не доходит до Его Величества. На рубеже величайших событий в русской истории надо, чтобы русский Царь выслушал мнение всех ответственных военачальников и всего Совета министров. Приближается, быть может, последний час и необходимы героические решения. Наша обязанность — умолять Его Величество немедленно собрать под своим председательством чрезвычайный военный совет.

Министры, частью уже подготовленные, дружно согласились — ходатайствовать, причём указать Государю, что

население недоумевает по поводу внешне безучастного отношения Царя и Его правительства к переживаемой на фронте катастрофе.

Всех охватило возбуждение, шёл беспорядочный разговор. Да должны ж были министры что-то узнать о ходе дела, наконец! И должны были быть услышаны! Даже в самой столице гражданская жизнь — продовольственный или рабочий вопрос, зависели больше от командующего 6-й армией, чем от них!

Кривошеин: Никакая страна не может существовать с двумя правительствами. Или пусть Ставка возьмёт на себя всё и снимет с Совета министров ответственность, или пусть считается с интересами государственного управления. Жутко становится за будущее. На фронте бьют нас немцы, а в тылу добивают прапорщики.

Князь Щербатов (внутренних дел): Губернаторы заваливают меня телеграммами о невыносимом положении с военными властями. При малейшем возражении — окрик и угрозы.

Хвостов (юстиции): Польские легионы, латышские батальоны, армянские дружины формируются без согласия Совета министров. А потом они лягут бременем на нашу национальную политику.

Рухлов (путей сообщения): Мы все так же работаем для России и не меньше господ военных заинтересованы в спасении родины. Невыносимо: все планы, предположения нарушаются произволом любого тылового вояки. Правительственный механизм разлагается, всюду хаос и недовольство. Нам, министрам, дают из Ставки предначертания и рескрипты.

За всё время войны ещё не было такого тяжёлого заседания правительства. И, кажется, все единодушно и неуклонно осуждали Ставку. Только предусмотрительный царедворец Горемыкин предупреждал:

Господа, надо с особой осторожностью касаться вопроса о Ставке. В Царском Селе накипает раздражение против великого князя. Императрица Александра Фёдоровна, как вам известно, никогда не была расположена к Николаю Николаевичу и в первые дни войны протестовала против призвания его на пост Верховного Главнокомандующего. Сейчас же она считает его единственным виновником переживаемых на фронте несчастий. Огонь разгорается, опасно подливать в него масло. Доклад о сегодняшних суждениях Совета министров явится именно таким огнём.

И предложил — отложить, ещё хорошо подумать. Убедил министров.

Прошла неделя — не только не стало лучше, но 23 июля сдали Варшаву. Это произвело в стране оглушительное впечатление: Варшава — не рядовой город, но столица. Давно ли по её улицам демонстративно проводили лучшие сибирские дивизии, ещё не тронутые боями, как знак, что мы не отдадим Польшу немцам,— и с тротуаров, из окон, с балконов и крыш восторженно приветствовали их польки и поляки, поверившие в обещанную нами автономию. И вот — сдана?..

На другой день секретное заседание министров снова было напряжённо-нервное — уже при созванной Думе и всё большем общественном негодовании, подогреваемом печатью. У кривошеинского кружка стало расти раздражение и против Горемыкина. А критику Ставки стали поворачивать остриём на Янушкевича.

> Кривошеин: Я не могу больше молчать, к каким бы это ни привело для меня последствиям. Я не смею кричать на площадях и перекрестках, но вам и Царю обязан сказать.

Министры дружно соглашались, что великий князь должен быть освобождён от Янушкевича. Этот поворот довёл до конца

> Сазонов (иностранных дел): Ужасно, что великий князь в плену у подобных господ. Из-за таких самовлюблённых ничтожностей мы опозорили себя на весь мир. Его Высочеству не свойственно пренебрегать общественным мнением, он всячески старается привлекать его на свою сторону.

А уладчивый Горемыкин повторительно предупреждал:

> Мой настойчивый совет: с чревычайной осторожностью говорить перед Государем о делах Ставки и великого князя. Раздражение против него принимает в Царском Селе характер, грозящий опасными последствиями.

Для единства ли с обществом или наперекор царскому раздражению критика министров всё более поворачивалась не на великого князя, а лишь на Янушкевича. Да воинственный вид и высокий рост великого князя располагали к нему и армию и публику, его всё более возносили как национального героя, передавали легенды о его строгости к генералам и любви к простому солдату, и всем импонировала его известная ненависть к немцам. (До 1914 года общество не любило его, но он стал популярен за то, что явно не одобрял правительства.) Теперь тяжесть отступления и брань о поражениях как будто не висла на нём.

19 июля, в годовщину войны, собралась Дума. Горемыкин глухо, неубедительно прочёл перед ней правительственную декларацию, составленную Кривошеиным:

> Правительство идёт на путь усилий и жертв не иначе, как в полном согласии с вами, господа члены Думы.

Лидер кадетов отточенно возгласил, что Дума переходит

> от патриотического подъёма к патриотической тревоге. Правительство надменно считает себя способным справиться обветшалой бюрократической машиной...

(о, если бы ею-то дали!..)

> ...А источник ошибок — в ненормальном отношении с общественными силами. Народ хочет **сам** исправить, в **нас** он видит первых законных исполнителей своей воли.

Как всегда, русский либерализм говорил прямо от имени народа, от народного ума и чувства, не предполагая отличения или трещины между народом и собой.

Тон Думы и пафос её быстро повышался, с возбуждённым красноречием вносились сотрясательные запросы, особенно о хаосе в прифронтовой полосе, но не Ставке, это и в голову никому бы не пришло, а — всё тому же неказистому, нерасторопному, немому правительству. И министр внутренних дел Щербатов должен был выворачиваться, не смея открыть, что ему преграждена не только власть, но даже сведения о происходящем. Итак, обличительные речи падали на правительство, расходились по стране и за границу, вызывая всеобщее мнение о безнадёжной бездарности министров. Дума требовала уже и следствия и суда над виновниками худого снабжения фронта (и Совет министров учреждал следственную комиссию над своим недавним членом Сухомлиновым). И не проступал никто властный, кто мог бы услышать, принять к действию или не принять, но не закисать будто в неслышимости и параличе, как правительство. По нашему характеру всем было бы легче, если бы министры отбранивались, спорили, сами нападали, чем так вот трусливо жаться. Их скрытых обстоятельств никто не обязан был знать и не мог предположить. Во всех слоях населения думские речи произвели грозное впечатление и глубоко повлияли на отношение к власти.

А едва не больше всех других зажглись ниспровергательным духом промышленники, купцы и банкиры. Ещё в конце мая собрался их промышленный съезд, якобы для существенного дела, но нет: для поношения негодного правительства. К истерической речи Рябушинского добавил негодования и Коновалов. И началось движение предпринимателей: самим снабжать фронт, отобрав у правительства! Повсюду стали создаваться «военно-промышленные комитеты», не везде успевая разграничиться между собой по

географическим районам и областям деятельности, но все напряжённо-возбуждённые. Это движение перенял и возглавил Гучков, всегда предприимчивый, а тут и обиженный, за эти годы растеряв и свою партию октябристов и общественное лидерство. 25 июля он был избран председателем Центрального Военно-промышленного комитета — и уже 4 августа получил от правительства утверждение своего устава. (В этом ему помог родственник его и дружественный ему Кривошеин: стремительно ввёл проект через Горемыкина, не дали ознакомиться-подготовиться министрам, ни даже торговли-промышленности, впрочем военный Поливанов был с Гучковым заодно, экстраординарно пригласили Гучкова на заседание кабинета, он держался огрызчиво, как в стане разбойников, и не дал ничего существенно исправить: представители желают служить бескорыстно и нечего здесь отвергать.) И в газетах появились сообщения о кипучей деятельности военно-промышленных комитетов, спасающих страну, тогда как проклятое правительство губит её. Всё перемешалось: члены этих комитетов получили свободный доступ в военное министерство, в отделы заказов и заготовок, от них не стало там секретов, и всё распределение заказов между заводами стало зависеть теперь от них, возбуждая к ним заискивание производителей, а их патриотическое посредничество оплачивая за казённый же счёт процентом от многомиллионных военных заказов. — для воюющей страны достаточно безумная обстановка. Центральный Военно-промышленный комитет изображал теперь ещё одно правительство, более озабоченное ходом войны, чем Совет министров.

И — как же было Совету министров в этом общественном разгорячении? прежде всего с Думой? вместо работы, законопроектов

> её тон повышается. Всё ярче видны захватные стремления. Это уже не «штурм власти», но наскок на власть.
>
> Горемыкин: Дать ей короткий срок с условием провести законопроект о ратниках 2-го разряда и распустить.

И Кривошеин был вполне согласен: скорей прервать!

> Собирая её, мы имели в виду короткую сессию, так до первых чисел августа. (Даже) середина августа — срок неприемлемый. Дума мешает нам проводить по 87-й статье экстренные мероприятия. Надо разъяснить благожелательным депутатам, которые хоть способны разговаривать с «ненавистной бюрократией», невозможность в обстановке войны обходиться нормальным порядком законодательства.

Призыв ратников 2-го разряда был ещё одной непомерной и тиранической крайностью Ставки: не смеряясь с национальными силами, с хозяйством тыла, великий князь требовал новые миллионы под ружьё (и даже не под ружьё, потому что ружей не хватало). Правительство разумно не хотело мобилизовать ратников. Но уж если мобилизовать, —

> Щербатов: Безусловно важно провести закон о ратниках через Государственную Думу. Наборы с каждым разом проходят всё хуже и хуже. Полиция не в силах справиться с массой уклоняющихся. Люди прячутся по лесам и в несжатом хлебе. Без санкции Думы, боюсь, при современных настроениях мы ни одного человека не получим. Агитация идёт во всю, располагая огромными средствами из каких-то источников.
>
> Григорович (морской): Известно каких — немецких.
>
> Щербатов: Не могу не указать, что агитация принимает всё более откровенно пораженческий характер. Её прямое влияние — повальные сдачи в плен.
>
> Самарин (обер-прокурор Синода): В тылу разгуливает масса серых шинелей. Нельзя ли найти им более полезное применение на фронте?
>
> Кривошеин: Обилие бездельников в серых шинелях, разгуливающих по городам, сёлам, железным дорогам и по всему лицу земли русской, поражает мой обывательский взгляд. Зачем изымать из населения последнюю рабочую силу, когда стоит только прибрать к рукам и рассадить по окопам всю эту толпу гуляк? Однако этот вопрос относится к области запретных для Совета министров военных дел.

Поливанов, чья язвительная раздражённость так и рвалась со всех привязей, из острых глазок, из выставленных челюстишек, докладывал, что положение на театре войны у этой Ставки — разгром и растерянность:

Уповаю на пространства непроходимые, на грязь невылазную и на милость угодника Николая Мирликийского.

Харитонов (государственный контроль): А на Кавказе шествие вперёд не прекращается. Куда мы там, с позволения сказать, прём?

Поливанов: Известно куда — к созданию Великой Армении. Собирание земли армянской составляет основное стремление графини Воронцовой-Дашковой,

жены Кавказского наместника.

Но едва ли не всего разрушительнее от нашего отступления на Западе катится волна беженства. Поднялась стихия — и никакие учреждения не могут ввести её в правильное русло.

Кривошеин: Из всех тяжких последствий войны — это самое неожиданное, грозное и непоправимое. И что ужаснее всего — оно не вызвано действительной необходимостью или народным порывом, а придумано мудрыми стратегами для устрашения неприятеля. По всей России расходятся проклятия, болезни, горе и бедность. Голодные и оборванные повсюду вселяют панику. Идут они сплошной стеною, топчут хлеба, портят луга, леса, за ними остаётся чуть ли не пустыня. Даже глубокий тыл нашей армии лишён последних запасов. Я думаю, немцы не без удовольствия наблюдают результаты и освобождаются от забот о населении. Устраиваемое Ставкою второе великое переселение народов влечёт Россию к революции и к гибели.

В 1812 году маневрировали сосредоточенные армии на небольших площадях, тогда беженство не было таким массовым. Теперь, обезьянничая с той войны, повторяют его при сплошном фронте, опустошают десятки губерний, вырывая миллионы из вековых жилищ, не смеряя, что же делать со скотом и лошадьми в век железных дорог. Только под жильё беженцев занято 120 тысяч товарных вагонов.

Но и ещё может быть удержался бы Янушкевич, при своём всевластии всё же недостаточно заметный рядом с великим князем, если бы он не применил такого же насильственного массового выселения во внутренние русские губернии и ко всем евреям, да ещё обвинив их сплошь в сочувствии к врагу и шпионстве. Янушкевич горел боязнью оказаться виновным в грандиозном отступлении — и так пришёл к злополучной идее свалить военные неудачи на евреев. И хотя все его меры утверждались же великим князем — внутри страны был безусловно обвинён Янушкевич. А извне — обвинена вся Россия. Ожесточённая реакция на Западе была мгновенна. Союзные правительства твёрдо указали, что надо с евреями примириться немедленно, иначе это отразится на положении России.

В начале августа этот вопрос большой спешности обсуждался на нескольких закрытых заседаниях русского правительства: повсюду на Западе (и от внутренних банков тоже) тотчас были обрезаны кредиты России на ведение войны, недвусмысленно закрыты все источники, без которых Россия не могла воевать и недели. Наиболее ощутительно это сказалось в Соединённых Штатах, ставших банкиром воюющей Европы.

Щербатов: Наши усилия вразумить Ставку остаются тщетными. Мы все вместе и каждый в отдельности говорили, писали, просили, жаловались. Но всесильный Янушкевич считает для себя необязательным общегосударственные соображения. Сотни тысяч евреев продвигаются на восток от театра войны — и распределение всей этой массы в границах черты оседлости невозможно. Местные губернаторы доносят, что всё заполнено свыше пределов вместимости, и кроме того они не отвечают за безопасность новых поселенцев ввиду возбуждённого состояния умов и погромной агитации возвращающихся с фронта солдат. Это приводит нас к необходимости хотя бы временно водворять эвакуируемых евреев вне черты оседлости. Эта линия уже и сейчас нарушается. Руководители русского еврейства настойчиво домогаются легальных оснований. В пылу беседы мне прямо говорилось, что среди еврейской массы неудержимо растёт революционное настроение. За границей тоже начинают терять терпение, пожелания принимают почти ультимативный тон: если вы хотите иметь деньги на ведение войны, то... Мы должны временно приостановить действие правил о черте оседлости. Нужен акт, который служил бы реабилитацией для ев

рейской массы, заклеймлённой слухами о предательстве. И надо спешить, чтоб не оказаться позади событий. Иначе значение жеста пропадёт.

Кривошеин: Министр финансов, который сейчас находится на растерзании в Государственной Думе, просит о таком акте в еврейском вопросе, который имел бы демонстративное значение. К нему на днях явились Каменка, барон Гинцбург и Варшавский с заявлением о всеобщем возмущении. Кратко беседа была: дайте, и мы дадим. Нож приставлен к горлу, ничего не поделаешь. Пока ещё вежливо просят, мы можем ставить условия: мы существенно изменим черту оседлости, а вы нам дайте денежную поддержку и окажите воздействие на печать, зависимую от еврейского капитала (это равносильно почти всей печати), в смысле перемены её революционного тона.

Сазонов: Союзники тоже зависят от еврейского капитала и ответят нам указанием прежде всего примириться с евреями.

Щербатов: Мы попали в заколдованный круг. Мы бессильны: деньги в еврейских руках, и без них мы не найдём ни копейки.

Горемыкин: Право жительства евреям — только в городах. Сельские местности мы обязаны оградить.

Щербатов: И есть убедительный мотив: в деревне растёт погромное настроение. Против него мы не в состоянии оберечь евреев, так как сельской полиции у нас почти не существует.

Кривошеин: Сами евреи отлично это понимают. Их и не тянет в деревню. Все их интересы связаны с городскими поселениями.

Сазонов: Я знаю из верного источника, что и всемогущий Леопольд Ротшильд не идёт дальше городов.

Рухлов (путей сообщения): Вся Россия страдает от тяжестей войны, но первыми получают облегчение евреи. Подтверждается поговорка, что за деньги всё покупается. Несомненно все узнáют происхождение акта и мотивы. Какое впечатление это произведёт не на еврейских банкиров, а на армию и на весь русский народ? Как бы не явился взрыв возмущения и кровавые бедствия для тех же самых евреев. Постановка вопроса для меня неожиданна, я затрудняюсь дать ответ по чистой совести.

Самарин: Я вполне понимаю это чувство протеста в душе. Мне тоже больно давать своё согласие на акт, последствия которого огромны и с которым русским людям придётся считаться в будущем. Но таково сплетение обстоятельств, приходится жертвовать.

Поливанов: В качестве министра, ведающего казачьими областями, я обязан заявить, что едва ли право свободного жительства евреев применимо в этих областях даже в отношении городов. Казачьи городские поселения следовало бы изъять в интересах самих евреев. Казаки и евреи исторически никак не могли ужиться друг с другом, встречи их всегда кончались неблагополучно. Не надо упускать из вида и то, что казачьи отряды — главные выполнители приказов генерала Янушкевича о спасении русской армии от еврейской крамолы.

Через день, 6 августа, министры заседали вновь, и секретная часть началась с того же. Горемыкин доложил, что он сообщил Государю о суждениях министров — и Его Величество в принципе одобрил отмену черты еврейской оседлости в отношении городов. (На что он не согласился в 1906, когда настаивал Столыпин. Нужда убеждает. В это летнее отступление 1915 года отрыгались России три раздела Польши.)

Кривошеин: Интересы народного хозяйства давно требуют привлечения широкой предприимчивости. Перенос с западной окраины еврейских предприятий даст толчок развитию промышленности и обеспечит подъём местной жизни. Евреи встряхнут сонное царство и растревожат изленившееся на покровительственной системе русское купечество. Да уже и теперь в самых исконных русских городах немало евреев, но по преимуществу богатых.

Рухлов: Моё чувство и сознание протестуют, что военные неудачи отзываются в первую очередь льготами евреям. И ещё: тут говорилось о финансовых и военных соображениях в пользу жеста. Но достаточно припомнить роль евреев в событиях 1905 года, и какой процент иудеев при-

ходится на лиц, ведущих революционную пропаганду и участвующих в подпольных организациях. Я категорически отказываюсь дать свою подпись. Но не считаю себя вправе заявлять разногласие и переносить бремя столь кардинального вопроса на русского Царя.

Щербатов: Конечно, Сергей Васильич глубоко прав, указывая на разрушительное влияние еврейства. Но что же нам остаётся делать, когда нож приставлен к горлу? А деньги в еврейских кругах.

Барк (финансы): Не мы создали этот острый момент, а те, кого мы тщетно просили воздержаться от возбуждения еврейского вопроса казацкими нагайками. Сейчас заграничный рынок для нас закрыт, и мы там не получим ни копейки. Мне откровенно намекают, что нам не выйти из затруднений, пока не будет сделано демонстративных шагов в еврейском вопросе. Иного выхода я, как министр финансов, не вижу. Времена Минина и Пожарского, по-видимому, не повторяются.

Кривошеин: Я тоже привык отождествлять русскую революцию с евреями, но тем не менее подписываю акт о льготах. Будемте спешить. Нельзя вести войну сразу и с Германией и с еврейством, это непосильно даже для такой могучей страны, как Россия, хотя генерал Янушкевич и держится другого мнения.

Обсуждения исчерпались, стали готовить форму проведения.

Горемыкин: В настоящих условиях недопустимо возбуждение в Государственной Думе прений по еврейскому вопросу, они могут принять опасные формы и явятся поводом к обострению национальной розни. Нет уверенности в благополучном прохождении законопроекта. И длительный законодательный порядок лишит меру необходимой демонстративности и характера милости.

Харитонов: Поверьте мне — никто и не пикнет о незакономерности и не станет протестовать. Не только кадеты и более левые, но и октябристы сочтут долгом приветствовать акт, какие тут запросы и протесты.

Барк: Французские Ротшильды искренно желают помочь союзникам в победе над Германией. И Китченер неоднократно повторял, что для успеха войны одним из важных условий является смягчение режима для евреев в России. Наше сегодняшнее постановление крайне благоприятно отразится на наших финансах.

(Однако, этого не произошло. В августе же союзники потребовали для начала отправить в Англию и в Америку четвёртую часть русского золотого запаса для обеспечения платежей по военным заказам.

Харитонов: Значит, с ножом к горлу прижимают нас добрые союзники — или золота давай, или на грош не получишь. Дай Бог им здоровья, но так приличные люди не поступают.

Кривошеин: Даже сам Шингарёв не одобряет поведения Лондона и Парижа. Они восхищаются нашими подвигами для спасения союзных фронтов ценою наших поражений, миллионами жертв, которые несёт Россия, а в деньгах прижимают не хуже любого ростовщика. А Америка пользуется обстановкой нажиться на несчастьи Европы.

Шаховской: Итак, мы под ультиматумом наших союзников?

Барк: Да. Если мы откажемся вывезти золото, то американцы будут требовать с нас золотом за каждое ружьё.)

Затем стали обсуждать, какие же встречные условия выставить влиятельным еврейским кругам: чтоб они воздействовали на еврейскую массу в смысле прекращения революционной агитации, а также к перемене направления печати.

А тем временем ещё на заседании 6 августа ожидала министров новая встряска. До этой минуты во всём обмене мнениями генерал Поливанов принимал малое участие. Он сидел мрачно и обычное у него подёргивание головы и плеча проявлялось особенно сильно. Затем Горемыкин попросил его сообщить о положении на театре войны. (Раньше Сухомлинов не баловал их такими сообщениями, ибо и сам не был осведомлён никогда.) Поливанов приступил с охотой: как за ним заметили, чем мрачней и безнадёжней были его сообщения (а он всегда их сгущал и преувеличивал), тем удовлет-

ворённей он выглядел, если не радостней: он сообщал как будто о крушении противника. Так и сегодня он нарисовал картину разгрома:

Можно каждую минуту ждать непоправимой катастрофы. Армия уже не отступает, а попросту бежит. Малейший слух о неприятеле вызывает панику и бегство целых полков. Пока спасает наша артиллерия. Но снарядов почти нет. Ставка окончательно потеряла голову: противоречивые приказы, метание из стороны в сторону. Психология отступления проела весь организм Ставки. Вне пресловутого заманивания пространством не видят никакого исхода.

Никакого исхода! И по всем статьям, очевидно: для спасения России — Ставку надо менять! Всем Советом министров просить Государя: менять Ставку!

Но — нет, ещё худшее приготовил Поливанов для своих коллег:

Как ни ужасно то, что происходит на фронте, есть ещё одно гораздо более страшное событие, которое угрожает России. Я сознательно нарушу служебную тайну и данное мною слово до времени молчать. Сегодня утром Его Величество объявил мне о принятом им решении устранить великого князя и лично вступить в Верховное Главнокомандование.

И тут среди министров поднялось сильнейшее волнение! Все заговорили сразу, и поднялся такой перекрестный разговор, что невозможно было уловить никого отдельно.

Поразительно: казалось бы, насточертела им всем самоуправная Ставка, и оголтелый великий князь с интриганом Янушкевичем. Казалось бы: теперь-то, когда Государь возьмёт Верховное Главнокомандование, только и могло оправдаться действующее Положение о полевом управлении войск, ничего и менять не надо. Но нет! Именно этой новостью министры были оглушены более всего.

Поливанов: Зная подозрительность Государя и его упорство в решениях личного характера, я пытался с величайшей осторожностью его отговаривать. Сейчас по состоянию наших сил нет надежды добиться хотя бы частных успехов, тем более надеяться на приостановку победного шествия немцев. Я не счёл себя вправе умолчать о возможных последствиях во внутренней жизни страны, если личное предводительствование Царя войсками не остановит продвижения неприятеля. Подумать жутко, какое впечатление произведёт на страну, если Государю пришлось бы от своего имени отдать приказ об эвакуации Петрограда или Москвы. Его Величество ответил, что всё им взвешено, и решение неизменно.

Щербатов: Именно теперь, в самый неблагоприятный момент! Рост революционных настроений. В письмах, полученных через военную цензуру, во многом винят самого Государя. А великий князь, несмотря на всё, происходящее на фронте, не потерял своей популярности, и пользуется благорасположением среди думцев за своё отношение к общественным организациям!

— то есть Земгору. В этом был и ключ: а вдруг царь станет ограничивать Земгор? Общественность истолкует неприязненно. Народное впечатление будет глубоко задето: за что сняли великого князя? И как же быть, его фотографии всюду. И как же Государь, став Верховным, сможет отлучаться в столицу? Да со времён Петра I цари не становились сами во главе армии!

...И если Его Величество отправится на фронт, я не могу поручиться за безопасность Царского Села. Войск там почти нет, полиция недостаточна. Кучка предприимчивых злоумышленников — и гарнизон окажется в тяжёлом положении. От сообщённого легко потерять равновесие.

Горемыкин: Я должен подтвердить слова военного министра. Его Величество уже несколько дней назад предупредил меня. А я предупреждал вас с осторожностью касаться вопроса о Ставке.

Сазонов: Как же вы могли скрыть от своих коллег по кабинету эту опасность? Решение Государя пагубно!

Горемыкин: Я не считал для себя возможным разглашать то, что Государь повелел мне хранить в тайне. Я сейчас говорю об этом лишь потому, что военный министр счёл возможным нарушить тайну и предать её огласке без соизволения Его Величества. Я человек старой школы, для меня Высочайшее повеление — закон. Должен сказать, что вы никакими доводами не убедите Государя отказаться от задуманного им шага. В дан-

ном решении не играют роли ни интриги, ни чьи-либо влияния. Оно подсказано сознанием Царского долга. Я так же просил отложить это решение до более благоприятной обстановки. Но Государь, отлично понимая риск, не хочет отказаться. Нам остаётся склониться перед волей нашего Царя и помочь ему.

Сазонов: Бывают обстоятельства, когда обязанность верноподданного настаивать перед царём. Надо учитывать и то, что увольнение великого князя произведёт крайне неблагоприятное впечатление на наших союзников, которые в него верят. Нельзя скрывать и того, что за границей мало верят в твёрдость характера Государя и боятся окружающих его влияний.

Кривошеин: Вполне соответствует душевному складу Государя и мистическому пониманию своего царского призвания. Но абсолютно неподходящий момент. И правительство поставлено предрешённо перед актом такой величайшей исторической важности. Ставятся ребром судьбы России и всего мира. Протестовать, умолять, настаивать, просить, удержать Его Величество от бесповоротного шага! Ставится вопрос о судьбе династии, о самом троне, наносится удар монархической идее, в которой вся сила и будущность России! Народ ещё с Ходынки и японской кампании считает Государя несчастливым, незадачливым. Напротив, великий князь — это лозунг, вокруг которого объединяются великие надежды. Нужно иметь особенные нервы, чтобы выдерживать всё происходящее.

Щербатов: Решение Государя будет истолковано как влияние пресловутого Распутина. Об этом влиянии уже идут толки в Государственной Думе, и боюсь, как бы не возник скандал.

Харитонов даже пугал, как бы нервный, впечатлительный, самолюбивый великий князь не оказал из Ставки сопротивления. Поливанов разводил руками: всё может быть. Другие отклонили, не поверили.

Барк: Решение Его Величества ухудшит наш кредит. Царь во главе армии — это наша последняя ставка.

Шаховской: Просить аудиенции всему Совету министров и умолять Государя о пересмотре решения.

Все были напряжены сверх меры, и только преклонный председатель сохранял покойное углубление в отстранённую мудрость. Он был председателем и того правительства, год назад, когда они дружно отговорили Государя брать Главнокомандование.

Горемыкин: Я против такого коллективного выступления. Вы знаете характер Государя и какое впечатление на него производят подобные демонстрации. Государю и без того нелегко, чтобы нам ещё тревожить его нашими протестами. Я уже всё сделал, чтоб удержать Государя. Но решение его непоколебимо. Я призываю вас преклониться перед волею Его Императорского Величества, сплотиться вокруг него в тяжёлую минуту и посвятить все силы нашему Монарху.

Но обновлённый, олибераленный совет министров уже был не таков, чтобы слишком возвышенный призыв председателя произвёл тут впечатление: даже не все и вслушались, продолжали горячо о том, как отговаривать. Кривошеин смотрел на Горемыкина с грустью и удивлением: он сам его на этот пост предложил, и полтора года старик дружественно соглашался, выполнял, ладил. И вот первый раз он упорно закрепился на своём, и вот когда Кривошеин пожалел, что не взял премьера. Теперь, хоть и пренебрегая стариком, не могли министры без своего председателя обращаться коллективно. Оставалось все умоления Государя поручить Поливанову, кому и доверена была тайна. Все были возбуждены и даже раздражены: как мог Государь принять такое решение, не посоветовавшись с правительством?!

А Государь уже несколько месяцев готовился к этому решению. Он никогда не мог простить себе, что во время японской войны не поехал стать во главе Действующей армии. Долг царского служения — в момент опасности быть среди войск. В первые дни нынешней войны Государь твёрдо хотел брать на себя Верховное Главнокомандование, но в те дни его отговорила сплотка негодующих министров. А дядя (Николаша), его бывший эскадронный в гусарском полку, стал очень видное лицо в русской армии, и мог пока естественно возглавить её, — и так был назначен Верховным Глав-

нокомандующим, хотя государыня уже и тогда была против этого назначения. С тех пор Государь постоянно сожалел, что не взял на себя своего естественного жребия. Его многочисленные поездки на фронты и смотры полков были попыткой соединиться с армией, хотя бы и помимо Ставки. Он любил свою армию и себя в армии, и ревновал к Николаше. Теперь же, когда на фронте наступила катастрофа,— Николай тем более считал своим священным и мистическим долгом стать во главе войск, вместе с ними победить или погибнуть. (А к тому ж переход на военное существование обещал освободить его от тягостных тыловых проблем, размышлений, министерских приёмов и петербургских сплетен.)

Государыня давно разделяла такое его решение и укрепляла в нём. Ещё с первой военной осени она заподозрила, что Николаша, пользуясь Верховным Главнокомандованием, хочет перенять себе трон. Подтвержденье этого она видела затем во многих действиях и манерах Николая Николаевича. Он не делал Государю регулярных военных докладов. Минуя Государя, вызывал к себе в Ставку министров для объяснений и указаний, и ряд дел Государь получал уже решёнными в Ставке помимо него. Николай Николаевич слишком много занимался делами всего государства, а не фронта. (Разжигали и подпольные открытки с изображением Николая Николаевича и подписью «Николай III».) Нам сохранились те из настойчивых внушений государыни, которые были высказаны в письмах во время разлук. (Помещая их рядом с публичными выступлениями других лиц, приём неравноправный, мы надеемся на смягчающую поправку читателя: может быть *те* все среди близких выражались и грубей.)

> Он старается играть твою роль. Перед Богом и людьми никто не имеет права, как он это делает. Он наделает беды, а потом тебе будет трудно исправить. Он так мало понимает во внутренних делах и нашу страну, но импонирует министрам громким голосом и жестикуляцией. Все возмущены, что министры отправляются с докладами к нему. Говорят, что Государя лишили власти. Нашего Друга и меня одинаково поразило, что Николаша, отвечая губернаторам, составляет телеграммы в твоём стиле. (К тому ж) это вина Николаши и Витте, что вообще существует Дума. Николаша далеко не умён, упрям — и его ведут другие. Его подстрекают его черногорки. Он действовал неправильно — к твоей стране, к тебе и к твоей жене. И так как он пошёл против Человека, посланного Богом, — его дела не могут быть угодны Богу, и мнения его не могут быть правильны. Человек, который сам стал предателем Божьего человека, — не может быть угоден Богу.

И отсюда советы к действиям:

> Чёрт бы побрал Ставку! — оттуда добра не может быть. Солдатам нужен ты, а не Ставка. Ты не должен смотреть глазами Николаши, но заставить его смотреть твоими. Нужна неколебимая власть среди развала. Помни, что ты — император, и другие не смеют брать на себя так много. Ты долго царствуешь и имеешь больше опыта, чем они. Пошли Господь тебе больше уверенности в твоей собственной мудрости, чтобы ты не слушался других, но только нашего Друга и твоей души. Никогда не забывай, кто ты есть и что ты должен остаться самодержавным императором. Иногда хороший громкий голос и строгий взгляд делают чудеса. Будь решительней и увереннeй в себе! Они должны лучше помнить, кто ты такой.

Так за весну и лето 1915 созревало решение Государя сместить Николая Николаевича и взять на себя Верховное Главнокомандование — одновременно разрушив затеваемый (только болтаемый) в Ставке заговор уволить императрицу в монастырь.

И в эти же месяцы, уступая негодованию общества, Государь сменил нескольких министров. Часть этих смен произошла с ведома и согласия императрицы. Все снятия она считала правильными. Так, министр юстиции Щегловитов, хотя и очень правый,

> не нравится на своём месте. Не обращает внимания на твои приказания, разрывает прошения, пришедшие, по его предположению, через нашего Друга.

И разделяла тяжёлое сердце Государя при отставке Сухомлинова. Но императрица не уследила за всеми назначениями новых министров, часть этих назначений была внушена Государю и подписана в Ставке, в отлучке из дому, — и быстро оказалось, что назначения эти неудачны.

> Прости, но мне не нравится выбор военного министра. Такой ли чело-

век Поливанов, на которого можно положиться? Хотелось бы знать все основания, которые у тебя были? Возможно ли, чтоб он разошёлся с Гучковым? И не враг ли он нашего Друга? А это всегда приносит несчастье.

А Щербатов, неизвестно почему назначенный с коннозаводства, потому ли, что брат его — адъютант Николаши,

трус и тряпка. Даёт слишком большую волю печати. Вероятно и он враждебен нашему Другу, а потому и нам.

Но хуже всего обернулось с Самариным в роли обер-прокурора Синода:

Я в отчаянии от его назначения. Он — из скверной ханжеской клики, московской банды, которая опутает нас как паутина. Теперь у нас опять начнутся истории против нашего Друга, и всё пойдёт дурно. Я несчастна с тех пор, как услышала об этом назначении. Его предложил Николаша, специально зная, что он будет вредить Григорию. Глуп, нахал, дерзко разговаривал со мною. Я чувствовала его антагонизм. Он не успокоится, пока он меня, нашего Друга и Аню не впутает в беду. При первой же встрече говори с ним очень твёрдо, что ты запрещаешь всякие интриги против нашего Друга или разговоры против него. Ты — глава и покровитель Церкви, а он старается подорвать тебя в глазах Церкви, начинает сомневаться в твоих приказаниях. Самарин упадёт в яму, которую он для меня роет. Россия не разделяет его мнения. Мы должны выгнать Самарина, и чем скорее, тем лучше. Кто угодно лучше него... Если бы ты знал, какие слёзы я сегодня проливала, ты бы понял огромную важность этого, это не женская чепуха, но настоящая правда.

И ещё, при таком опасно изменённом составе правительства,

почему ты должен ездить к Николаше в Ставку и собирать своих министров там? Могут воспользоваться твоим сердцем и заставить сделать тебя вещи, которых ты бы не сделал, если бы был тут. Меня — боятся и приходят к тебе, когда ты один. Меня боятся, зная, что моё дело правое.

Но вот — все убеждения и колебания были, кажется, позади, и в горшую минуту отката русских войск Государь принимал бремя Верховного. Своего доверенного военного министра Поливанова (не понимая его истинного настроения) он 9 августа послал в Ставку, чтобы тактично, негласно объявить Николаше решение и столковаться с ним о порядке сдачи командования. Великому князю предлагалось принять пост Кавказского наместника вместо Воронцова-Дашкова.

Для великого князя отставка в период сплошных неудач была как бы открытым признанием негодности. Но он — перенёс удар, не взбунтовался, даже как милость воспринял, что его не вовсе отставляют, а посылают командовать Кавказом, — и только одного настоятельно просил: отпустить с ним туда же драгоценного Янушкевича. Напротив, Янушкевич и другие штабные чины испытали полное разочарование, и на ближайшие недели Ставка как бы забастовала: мало прикасалась к работе и к руководству отступающей армией.

Но и тут же Государь ответил великому князю, что смена командования произойдёт не так быстро, в течении недель.

А города сдавались за городами. Под салюты немецких фугасов 5 августа сдано было Ковно (комендант Ковенской крепости генерал Григорьев сбежал), к 15-му — Гродно и Брест-Литовск. Многим не верилось, что такое отступление происходит не от измены. Рабочие Коломенского завода и некоторых других волновались, обвиняя своё правление в нежелании напрячь производительность предприятия и в угоде немецким интересам. Волнения грозили насилием. Рабочие готовили депутацию, но не к правительству, настолько было всюду втолковано, что оно ничтожно, а в Думу и в Ставку. Министры спешили просить Родзянку не принимать таких депутаций (а он любил).

Горемыкин: Председатель Государственной Думы находится в таком возбуждённом состоянии, что разговаривать с ним бесполезно. Министру внутренних дел и военному надо принять все меры к прекращению безобразий. Мы знаем, к чему приводят мирные депутации.

Шаховской: Вообще сейчас на заводах настроения напряжены до последней степени. Рабочие повсюду ищут измены, предательства, саботажа в пользу немцев, увлечены поисками виновников наших неудач на фронте.

Щербатов: Настроением рабочих пользуется революционная агитация, раздувает в массах патриотическое негодование о нехватке снарядов. Этот вопрос самый модный и в Думе, и в обществе, и в печати. На нём удобно создать почву для беспорядков. Кому-то важно любыми способами вывести толпу на улицу.

Но и снова же, снова тяжело обсуждали, как остановить решение Государя, пока оно не объявлено официально.

Самарин: Я был в Москве и не присутствовал на последних заседаниях. Дай Бог, чтоб я ошибся, но я жду от перемены Верховного Главнокомандования грозных последствий. Смена великого князя и вступление Государя Императора явится уже не искрой, а целой свечою, брошенной в пороховой погреб. Революционная агитация работает, не покладая рук, стараясь всячески подорвать остатки веры в коренные русские устои. И вдруг громом прокатится весть об устранении единственного лица, с которым связаны чаяния победы. О Царе с первых дней царствования сложилось в народе убеждение, что его преследуют несчастья во всех начинаниях. Я хорошо знаю многие местности России и особенно близко Москву и утверждаю, что весть будет встречена как величайшее народное бедствие. Надо на коленях умолять Государя не губить свой престол и Россию. Неужели ближайшие слуги Царя не могут добиться, чтоб их выслушали? Как же они тогда могут вести государево дело?

Горемыкин не терял взвешенного хладнокровия:

Наша беседа может завести так далеко, что и выхода не будет.

Но дошло до сведения министров, будто Государь, приняв звание Верховного Главнокомандующего, обоснует свою Ставку в Петрограде, так что она будет как бы и не Ставка, тут рядом, а на фронте всем будет верховодить генерал Рузский, у которого, кажется, прекрасные отношения с генералом Алексеевым. Это сразу было воспринято как облегчение: существенные плюсы — устранение Янушкевича, и непосредственная близость Ставки к правительству, и даже может быть, наконец, объединение гражданской и военной власти? Или, напротив, эта близость приведёт к ещё большему сумбуру?

Кривошеин, мастер составлять толковые бумаги, предложил: если смена командования, действительно, решена бесповоротно, то как бы сделать её мягче и понятнее народу? Просить Государя объявить свою монаршью волю в форме всемилостивейшего рескрипта на имя великого князя и в нём объяснить: не в победное время Царь идёт делить опасности с войсками, он готов погибнуть в борьбе с врагом, но не отступить от долга. И как он ценит великого князя. Кривошеин уже набрасывал и проект. Таким рескриптом можно сгладить многие углы, и великому князю тоже не будет обидным перемещение.

Сазонов взялся доложить эту мысль царю на своём ближайшем докладе. (Один Самарин упорно возражал, что нужен не рескрипт, а отговаривать.) Государь одобрил и просил представить проект рескрипта поскорее.

Между тем слух о смене Главнокомандования просачивался шире, о нём узнал и шумливый кипливый Родзянко. Как «второе лицо» в государстве, как супер-арбитр он кинулся в Царское Село отговаривать Государя. 11 августа Государь принял его, неблагосклонно, стоял на бесповоротности своего решения. Тогда Родзянко кинулся ругать правительство. Он застал их на заседании, вызвал в вестибюль Кривошеина как самого влиятельного из министров и расположенного к обществу, и стал ругать его, что правительство не сопротивляется Государю. Кривошеин уклонился, что он всего лишь министр земледелия. Тогда Родзянко вызвал Горемыкина. Но этот тем более не поддавался: правительство делает, что подсказывает совесть, а в советах со стороны не нуждается. Родзянко воскликнул:

Я начинаю верить тем, кто говорит, что у России нет правительства!

—и, не прощаясь, с сумасшедшим видом бросился к выходу. Он был уже так невменяем, что когда швейцар подал ему забытую трость — он закричал: «К чёрту палку!», и вскочил в экипаж.

На другой день Родзянко послал Государю письменный доклад, распространённый затем по читающим рукам:

Государь! Вы являетесь символом и знаменем — и не имеете права

допустить, чтобы на это священное знамя могла пасть какая-либо тень. Вы должны быть вне и выше органов власти, на обязанности которых лежит непосредственное отражение врага. Неужели вы добровольно отдадите вашу неприкосновенную особу на суд народа, — а это есть гибель России. Вы решаетесь сместить Верховного Главнокомандующего, в которого безгранично ещё верит русский народ. Народ не иначе объяснит ваш шаг, как внушённый окружающими вас немцами. В понятии народном явится сознание безнадёжности положения и наступившего хаоса в управлении. Армия упадёт духом, а внутри страны неизбежно вспыхнет революция и анархия, которые сметут всё, что стоит на их пути.

Сумбурный толстяк начал как будто и убедительно, Государь и сам мучился этой мыслью: если под его предводительством не изменится ход отступления — что будет с авторитетом престола? Но дальше Родзянко превзошёл все ступени бестактности и, как это он умел, лишь отвратил от своих доводов.

И так слух о смене любимого Главнокомандующего перекидывался всё шире, уже узнавала. Дума, Земгор, Петроград, Москва — и все, разумеется, негодовали.

В правительстве радовались, что смена, однако, затягивается: может быть, Государь и отвратится? А нельзя ли направить его возглавление не на фронт, а на дела тыла? А между тем отступление продолжается — и доверие масс к великому князю быстро падает. При некоторой ещё оттяжке может быть вступление Государя станет и допустимым? Лишь Самарин категорически настаивал, что государев шаг — смертельный риск для династии и для России. Поведение Поливанова, и всегда с предвамеренностью и задней мыслью, становилось всё более противоречиво: он был и против принятия Главнокомандования Государем, и науськивал против великого князя, и настраивал министров против Горемыкина. А Кривошеин рассуждал так, всё более объёмно:

Длить создавшуюся неопределённость дальше нельзя хотя бы потому, что с нею длится и генерал Янушкевич. Его присутствие в Ставке опаснее немецких корпусов. Кроме того зло в значительной степени уже сделано: решение Государя ни для кого не секрет, о нём говорят чуть не на площадях. Дальнейшие задержки могут отнять у царского намерения то, что в нём есть красивого. Без замедлений просить Государя о созыве военного совета с участием правительства для пересмотра плана войны. Наилучшее место для такого собрания — Ставка, присутствие великого князя безусловно необходимо. Его Величество обладает таким исключительным талантом обходиться с людьми, даже заведомо ему несимпатичными, что сумеет произвести впечатление добрых отношений с великим князем. И если нам суждено пройти через смену командования, после военного совета это будет как бы следствием совещания с правительством и военачальниками. Это смягчит остроту в общественном сознании. Все с тревогой говорят, что сверху не видно никаких действий.

А Государь все недели и все дни — мучительно думал. Он поехал в Елагин дворец к матери, и она отвечала ему то же: ты не подготовлен к такой роли, и тебе этого не простят, не веди Россию к гибели, и государственные дела требуют твоего присутствия в Петрограде. Не повтори ошибку Павла I: и он в последний год стал удалять от себя всех преданных людей.

И верный старик Воронцов-Дашков тоже отсоветывал: сейчас вы — глава государства и судья. А сделаетесь главой войска — можете быть судимы.

И ещё многие уговаривали подобно, гня и испытывая волю Государя.

И только неумолкающий, лучше всех слышимый голос царственной супруги поддерживал взятое направление:

Скромность есть высший дар Бога, но верховный повелитель должен показывать свою волю чаще. Будь увереннее в себе и действуй! Будь энергичен ради твоего собственного государства. Все пользуются твоей ангельской добротой и терпением. Ты чуточку медлителен в решениях, а колебаться никогда не бывает хорошо. Ты должен показать, что у тебя свои решения и своя воля. Будь твёрд до конца, дай мне в этом уверенность, иначе я заболею от тревоги. В России, пока народ необразован, надо быть господином.

Ото всей этой разноголосицы Государь, видимо, ослабел, и решённая смена никак

не происходила. Ни на что в жизни ему не приходилось решаться так трудно. Самое ужасное: кому же верить? кто же говорит истину? Опыт октября 1905 с Витте Государь вспоминал как кошмар: непоправимо ужасно — уступить, когда уступать не надо. Вот, на него наседали министры в мае: уволь только вот этих четырёх министров, и сразу всё пойдёт хорошо. И он — уволил четверых, и своего любимого преданного Николая Маклакова,— и чем же смягчил общество? Всё равно не угодил, не умилостивил, как если б и не увольнял: Дума заявляла теперь, что и с нынешним правительством работать невозможно. И новые министры не изобрели же новых способов управления. Как будто добавил четырёх министров вовсе и не левых — а правительство в целом сильно полевело, и еле сдерживал его старый верный Горемыкин. Уступки, нет, никогда не приводили к лучшему. Чтобы спасти Россию, чтобы Бог не оставил её — может быть и вправду нужна искупительная жертва, — вот Государь и станет этой жертвой. И если нужно будет отступать до крайности — он и возьмёт это отступление на себя. Но вместе с тем не мог Государь забыть и своей извечной неудачливости: все несчастья, которых он опасался, всегда на него падали, не удавалось ему ничто предпринимаемое. Он теперь молился — наедине и в разных церквах, и с государынею ездили в Казанский собор. Он уверял себя, что тут — не только внушения её и Григория, но когда он стоял в церкви Большого царскосельского дворца против большого образа Спасителя — какой-то внутренний голос будто убеждал его утвердиться в принятом решении. Всю жизнь он страдал от робости — но надо было её превозмочь!

А между тем смена командования всеми перемалывалась — и не происходила. Наконец, и для великого князя обращалось из милости в позор. (Ещё и Распутин кому-то заявлял, что это он убирает князя.) Николай Николаевич нервно просил ускорить его перемещение на Кавказ. Обиженного Янушкевича уже убрали, заменив генералом Алексеевым.

> Кривошеин: Я не ожидал такой недостойной выходки от его высочества. Как бы ни были тяжелы личные переживания, он не имеет права бросать армию на произвол судьбы.
>
> Самарин: За последнее время возобновились толки о скрытых влияниях, которые будто бы сыграли решающую роль в вопросе о командовании. Я откровенно спрошу об этом у Государя, имею на это право. Когда Его Величество предложил мне принять пост обер-прокурора, он лично мне сказал, что все эти россказни придуманы врагами престола. Сейчас я напомню о нашей беседе и буду просить уволить меня. Готов до последней капли крови служить своему законному Царю, но не... Надо положить предел распространению толков, подрывающих монархический принцип сильнее, чем всякие революционные выступления.
>
> Горемыкин: Я неоднократно говорил, что решение Государя бесповоротно. Вместо того, чтобы изматывать его нервы нашими ходатайствами, наш долг сплотиться вокруг Царя и помогать ему.
>
> Шаховской: Я был против перемены командования. Но сейчас уже поздно перерешать, ибо все знают о намерении Его Величества. Отказ будет истолкован как признак слабости воли и боязни.
>
> Кривошеин: С великим князем, по-видимому, кончено. Популярность его упала не только в войсках, но и среди мирного населения, возмущённого наплывом беженцев и бесконечными наборами в то время, когда некому убирать великолепные хлеба. Есть пример в истории. Когда наше отступление перед Наполеоном приняло чересчур поспешный и безнадёжный характер, то Аракчеев, Шишков и Левашёв потребовали отъезда Александра I из армии: если бьют Барклая — Россия только огорчится, если же будут бить Императора Всероссийского, то Россия этого не вынесет. Пусть генерал Алексеев сыграет роль Барклая, а Государь пусть собирает армию в тылу.

Да правительство теперь не было уверено, что само-то оно долго останется в Петрограде, тайно предусмотрительно обсуждало, не начать ли эвакуацию сокровищ Эрмитажа, дворцов, Публичной библиотеки — водными путями, до Нижнего Новгорода. Но опасались этим породить панику: и без того уже в столицах выбирали вклады из сберегательных касс в опасных размерах. А генерал-адъютант Иванов предлагал эвакуацию позади Юго-Западного фронта глубиною в 100 вёрст, а через несколько

дней, и вовсе никого не дожидаясь, стал готовить эвакуацию Киева, даже не спросясь правительство.

Щербатов: Военные власти окончательно потеряли голову и здравый смысл. Вся местная жизнь перевёрнута вверх дном. Лучше погибнуть в последнем бою, чем подписывать смертный приговор России.

Харитонов: Со всех сторон вопли, что людей бессмысленно напрасно разоряют. Хорошо бы Государю лично посмотреть, что творится с эвакуацией. Надо передать её из рук скоропалительных прапорщиков в руки опытных гражданских администраторов. Злость берёт от нашего бессилия перед генеральской отступательной храбростью.

Кривошеин: У меня вся душа переворачивается при мысли, что Киев — мать русских городов, вековая русская святыня, обрекается на ужасы эвакуации. Действительно, невероятные условия созданы отмежеванием части России под театр военных действий. Надо умолить Его Императорское Величество на созыв военного совета, элементарную меру, о которой 13 месяцев не желали подумать. История не поверит, что Россия вела войну и пришла к краю гибели вслепую, что миллионы людей приносились в жертву самомнению одних, преступности других. Военный совет и выработал бы план дальнейшего ведения войны и строгого порядка эвакуации.

У населения отбирали запасы, расплачиваясь какими-то бонами. Штабы отступали как в безумии — не во временный отход, но так разоряя местность — сжигая посевы, постройки, убивая скот, угрожая оружием землевладельцам — как будто никогда не надеясь вернуться. От генеральских распоряжений отступающие войска провожались проклятиями. Смоленская губерния и соседние стонали от наплыва беженцев, нехватки продовольствия, перегрузки солдатами. Санитарные поезда и военные грузы стояли в пробках на железных дорогах, отставленный вослед за Янушкевичем стратег Данилов-чёрный на одной из станций пировал в поезде. А Ставка уже проектировала отодвинуть границы театра войны — границу своей сумбурной власти и правительственного безвластия — ещё вглубь страны, до линии Тверь — Тула.

Щербатов: Невозможно отдать центральные губернии на растерзание орде тыловых героев. Упразднение нормальной власти — на руку революции.

Кривошеин: Людей охватывает какой-то массовый психоз, затмение всех чувств и разума.

Правительством овладела и высшая нервность, и чувство бессилия. Министры горячо и подолгу обсуждали все проблемы, и обрывали обсуждения, и не решались постановить, и сами всё более видели, что от их обсуждений ничего не зависит. У них не было мер и методов воздействия, и даже при крайнем возмущении они не находили, как заставить, а только — поговорить, предупредить, внушить. Они ни в чём не проявляли решительности, категорического мнения, противостояния. Не только отобрана была от них четвёртая часть страны в управление генералов, но и в остальной её части они не имели ни в ком опоры, ощущали себя как бы висящими в воздухе. По рождению правительства и подчинению его естественная поддержка могла быть от монарха — но тот почти не ставил их ни во что, устранился от них и не прислушивался к их мнениям. Земский и Городской Союзы распоряжались по всей стране, не спрашивая правительства. Дума и общество всё ярее действовали захватно, игнорировали правительство нарочито — а в законодательной деятельности Дума только тормозила всё, так что ни одного серьёзного закона уже нельзя было провести, тем более спешного.

Кривошеин: Даже конвент запрещал общение палаты с чернью. А у нас пока, слава Богу, ещё нет революции. Но такое время может оказаться неожиданно близким. Не желают понять проявляемую правительством мягкость и пользуются для агитационных целей.

Харитонов: Дума сорвалась с цепи и кусает всех направо и налево, Царь не доверяет своим министрам, — неуявися, что будет.

Население питалось слухами о взяточничестве при военных заказах, возбуждаясь сенсационными листками со вздорными известиями. В Москве беспорядки начались от патриотической радости: от газетного сообщения, что взяли Дарданеллы. В Иванове-Вознесенске — от того, что усадили под арест подстрекателей к забастовке.

Щербатов: Пришлось стрелять, а не было уверенности в гарни-

зоне. Можно ждать отзвука и в других заводских районах. А министр внутренних дел бессилен: повсеместно господствуют тыловые прапорщики с деспотическими наклонностями и малыми познаниями в порученных делах. Я — простой обыватель даже в столице Империи, и могу действовать лишь постольку, поскольку это не противоречит фантазиям военных властей. Надо действовать, да, но как, если ни с какой стороны нет поддержки?

Столичное общество билось в патриотической тревоге «всё для войны!», но не отказывалось от кафешантанов и пьяного сидения до утра, аквариумы и рестораны гремели музыкой и сияли огнями.

Щербатов: Вопрос не только принципиальный, но и практический: бесполезная трата электричества, когда его не хватает для заводов.

Самарин: Все эти торжествующие кабаки производят в народе крайне тяжёлое впечатление. Власть винят, что она допускает разврат в столице. Святейший Синод призвал православный народ к посту и молитве по случаю постигших родину бедствий. Православному правительству следовало бы закрыть увеселительные места на покаянные дни.

А печать — та и вовсе была распущена, как не попустили бы ни в какой республиканской стране (во Франции она под жёстким режимом служила борьбе с неприятелем).

Сазонов: Наши союзники — в ужасе от разнузданности, какая царит в русской печати.

Горемыкин: Наши газеты совсем взбесились. Всё направлено к колебанию авторитета правительственной власти. Это не свобода слова, а чёрт знает что такое. Даже в 1905 они себе не позволяли таких безобразных выходок. Его Величество указал тогда, что в революционное время нельзя к злоупотреблениям печати руководствоваться только законом, допускать безнаказанное вливание в народ отравы. Военные цензоры не могут оставаться равнодушны к газетам, если те создают смуту в стране.

Кривошеин: Наша печать переходит все границы даже простых приличий. Масса статей совершенно недопустимого содержания и тона. До сих пор только московские газеты, но за последние дни и петроградские будто с цепи сорвались. Сплошая брань, возбуждение общественного мнения против власти, распускание сенсационных ложных известий. Страну революционизируют на глазах у всех — и никто не хочет вмешаться. Ведь есть же у нас закон о военной цензуре?

Щербатов: Гражданская предварительная цензура у нас давно отменена, и у моего ведомства нет никакой возможности помешать выходу в свет той наглой лжи и агитационных статей, которыми полны наши газеты. У нас в законе нет права устанавливать гражданскую цензуру, ни наложить штраф, ни закрыть газету. Только на театре военных действий (правда, включая Петроград) существовала военная цензура, но она задерживала лишь то, что могло принести пользу неприятельскому осведомлению. Военные цензоры освобождены от просмотра печатных произведений в гражданском отношении. Распоряжением Янушкевича из Ставки запрещено только затрагивать августейших лиц — а всё остальное можно бранить, военная цензура не вмешивается в гражданские дела. Печать открыто проповедует решительный штурм на власть, нагнетает общественное мнение. То возбуждает неосновательные надежды («амнистия!»), чтобы тут же свалить на власть невыполнение их.

Кривошеин: Распространение революционных настроений полезнее врагу всяких других прегрешений печати. Кроме здравого смысла и патриотизма — какие указания можно дать военной цензуре? Никто из нас не был цензором, но всякий понимает, что́ недопустимо в разрушительной работе современной печати.

Тон Государственной Думы стал самый нападательный. Например:

Керенский: Та катастрофа, которая совершается, может быть предотвращена только немедленной сменой исполнительной власти... Мы должны сказать тем, кто сейчас не по праву держит в своих руках флаг: «Уйдите, вы губите страну! А мы хотим её спасти. Дайте нам управлять страной, иначе она погибнет!»

В Думе это звучало звонко. А из кабинета министров виделось:

Кривошеин: ...какой-то нето конвент, нето комитет общественного спасения. Под покровом патриотической тревоги хотят провести какое-то второе правительство. Наглый выпад против власти и лишний повод вопить о стеснении самоотверженного общественного почина. Нам нельзя всё время уступать — не будет предела претензиям. Дума зарывается, обращает себя чуть ли не в Учредительное Собрание и хочет строить русское законодательство на игнорировании исполнительной власти. Какой-то психоз, аберрация чувств.

Харитонов: До какого абсурда могут довести людей партийные стремления. Следовало бы всех этих господ посадить в Совет министров, посмотрели бы они, на какой сковороде эти министры ежечасно поджариваются. У многих быстро бы отпали мечты о соблазнительных портфелях.

Но эти мечты — были очень упорны. А русская власть казалась уже настолько несуществующей, что 13 августа Рябушинский со своей обычной грубостью возьми да и ляпни в своём «Утре России» на всю страницу проект нового правительства: премьер — Родзянко, внутренних дел — Гучков, иностранных — Милюков, финансов — Шингарёв, юстиции — В. Маклаков. Из бюрократии оставлены на местах лучшие для общества: военный — Поливанов, земледелия — Кривошеин.

Сознавая своё особое положение не проклинаемого обществом бюрократа, Кривошеин взял на себя и поиск выхода. Заседания Думы продолжились на август, Дума громчела, резчала,— надо было искать с ней сотрудничество. (Между делом подсадил в вице-председатели Думы благорасположенного князя Волконского.) Взору предносилось, как удавалось Столыпину: не воевать с Думой, но управлять, опираясь на думское большинство, — и притом не будучи перед Думой ответственным. Однако в Четвёртой Думе даже большинства не было, а дробные фракции. И Кривошеину первому пришла в голову мысль — создать такое большинство: возможно больше фракций сплотить в блок — и на этот блок премьер может опираться открыто, даже не считаясь с колебаниями и зигзагами царских настроений. Ибо только два пути и могло быть у правительства: либо внушительно указать, что власть в России существует, ввести железную диктатуру (но ни обстановки такой сейчас немыслимо было создать во всеобщей распущенности, ни диктатора такого, человека такого найти); либо — уступить общественности и править с нею заодно.

И думцы — переняли идею. В эти августовские дни в кулуарах и на частных квартирах стали собираться на заседания *прогрессивные деятели* и стало из них выпестовываться и сплачиваться желаемое большинство — Прогрессивный блок — включая и кадетов и как будто не совместимых с ними октябристов и националистов, исключая только крайне правых и крайне левых. Предусмотрительный трудолюбивый Милюков вёл краткие записи тех тайных переговоров.

Шульгин (националист): За то, что кадеты стали полупатриотами, мы, патриоты, стали полукадетами. Мы исходим из предположения, что правительство никуда не годится. Мы должны давить на него блоком в триста человек.

А. Д. Оболенский (центр). Напротив, если мы не сплотимся с правительством, немцы нас победят.

Блок создался, но что-то не проявлял расположения к умеренному правительству. В блоке моден такой образ:

Мы с правительством — спутники, увы, посаженные в одно купе, но избегающие знакомства друг с другом.

Сравнение — интеллигентское. А — есть ли кто на паровозе?

Крупенский (центр): Законодательные палаты вредно влияют на массы своим говорением.

Вл. Гурко (правый): Можно дать стране все *свободы,* а в войне получить поражение. Надо организовать — победу.

Д. Олсуфьев: Но мы должны приготовить страну даже и к поражению — чтоб неудача не повлекла внутреннего потрясения.

Обстоятельный Милюков предложил составить единую для всех программу.

Ефремов (лидер прогрессистов, бывших левых октябристов): Что— программа! Не программа, а — смена правительства!

Всё же начали обсуждать программу. Это сложно. Всякое естественное требование — уравнение сословий, введение волостного земства, кооперативы, утверждение

трезвости в России на вечные времена — кажется далёким мирным делом. А что неотступно сейчас, ждёт и отлагательства не терпит? Все национальные вопросы, и первее их еврейский.

> Оболенский: В еврейском вопросе — три четверти значения всей программы. Это нужно для кредита, для значения России. Американцы ставят условием свободный приезд американских евреев к нам.
>
> Крупенский: Я прирождённый антисемит, но я пришёл к заключению, что для блага родины необходимо сделать уступки евреям. Евреи — большая международная сила, от них зависит поддержка союзников.

А второй по важности вопрос — амнистия, уже третий год, как нет её.

> Оболенский: Пока правительство не даст амнистии, мы ему верить не можем.
>
> Милюков: Причём требовать амнистии всем политическим, включая террористов.
>
> Шингарёв: Программа должна быть ультиматум правительству, а не добрый совет.

Натащено было в программу многое, а главное:

> Привести отечество к победе может только правительство из *лиц, пользующихся доверием страны.*
>
> Олсуфьев: Мы фактически требуем парламентского министерства.
>
> М. Ковалевский: Мы выиграем, если в печать проникнет, что блок хотел создать правительство народной обороны, а Думу разогнали.

«Правительство доверия», то есть кому доверяют триста членов Прогрессивного блока, а значит весь народ. И — кто же эти лица?.. Заветный вопрос. Ясно, что мы, всем известные думские ораторы. Людей этих — знаем. Но —

> В. Маклаков: Лица, популярные в Думе, быстро погаснут в министерстве.

Ну уж! неужели справимся хуже, чем тупоумные царские бюрократы!

> Гурко: Да, центр тяжести в лицах. Точнее, в некоем лице, которое возьмёт полную ответственность и выберет себе лиц. Поставить у руля подходящего человека.

У многих колотится тайно сердце: уж не меня ли?..

Ах, как легко когда-то отвергли Витте с его министерскими постами для кадетов! Как легко отказались от власти в 05 году — а с тех пор так никто и не протянул больше...

Милюков и предлагает называть *кандидатов в желаемый кабинет*. Предлагает — он, а называть, естественно, — не ему. Когда станут называть, то первым именем может произнестись... Однако в ужасе

> Вл. Бобринский: Обсуждение имён попадёт в печать! будет использовано против нас! А если наметить *одного* — тем пуще: этого кандидата — власти просто погубят!

Такая утечка и произошла в публикации Рябушинского. Очень неприятная разгласка.

Однако, всё же... Надо назвать премьера...

Неожиданно стали называть — Кривошеина! Вот русская робость, даже среди передовых! Называть бюрократа, когда есть прогрессивные деятели!

> Милюков: Это меняет весь политический смысл блокирования.

Как воздуха на горе, не хватало смелости лёгким. От лозунгов к именам — всё же страшно перейти. Как это, не *они* привычные правители, а мы?

Назвали Гучкова.

> Милюков: Это нас не устраивает.

А может быть и правда — ещё преждевременно называть премьера? Опытный, бывалый, даже вялый царедворец Горемыкин, с утомлёнными глазами, пушистыми усами и долгими бакенбардами, свисшими в две боковых бороды, ездит потихоньку между Петроградом и Царским Селом, а с блоком в переговоры не вступает. Государственные заботы либералов он истолковывает низко: что не терпится им перебраться с платных частных квартир на казённые министерские, на министерское жалованье да в автомобили. Уровень главы правительства!..

Обязанности свои Горемыкин тянул в полном равнодушии к занимаемому посту,

Он не делал движений подлаживаться к Думе, по старости не боялся террористов, по опыту — бунта министров, и уже не боялся царского гнева, а жалел царя.

И сам Кривошеин теперь с изумлением увидел, что столько раз отказавшись от премьерства, так уверенный, что всегда можно заступить вместо старого Горемыкина, — вот и не мог заступить. Такое пришло время: Горемыкин перестал быть согласным, послушным, он дальше всякого смысла упирался в верности царю, особенно в этом проклятом вопросе о смене Главнокомандования. Он тяготил либеральных министров, он портил отношения с Думой, его надо было убрать теперь!

Правда, в глазах Государя Кривошеин так ещё и сохранялся уговорённым наследником Горемыкина — но ведь ещё не отставлялся Горемыкин.

Нет, глубже, есть пределы в каждом характере: как и прежде, так и сейчас, Кривошеин просто не решился бы принять на себя ответственность премьера. Он был исконный, природный человек — второго места.

Почти все министры, кроме Горемыкина и старого Хвостова, интриговали, тайно частно собирались — по душному столичному лету на берегу Большой Невки, в Ботаническом саду на Аптекарском острове, на даче Кривошеина. И там, на их тайных совещаниях, стали решаться судьбы правительства. Кем заменить Горемыкина? Пришли к мысли: Поливанов. С Поливановым, человеком Гучкова, Кривошеин был в понимании, и Поливанова будет приветствовать Дума (он в каждом выступлении льстил ей), — и самому Государю должна понравиться такая мысль: в военное время сделать премьером военного министра!

И действительно, Кривошеин представил эту мысль Государю, и тому понравилось, хотя он и не любил Поливанова. Тогда Кривошеин ещё осмелел и предложил взять в министры — Гучкова.

Государь — отемнился, сразу уклонился. Гучкова — он понимал как своего личного, закоренелого врага.

И сразу всё предложение ему показалось заговором. (Оно и было им.)

И, рикошетом, он впервые за много лет отвратился и от Кривошеина.

И тут недремлющие события покатили дальше. Казалось уснувший, почти обойденный вопрос о смене Верховного Главнокомандования взорвала московская городская дума. 18 августа она приняла три резолюции: послать демонстративную восхищённую телеграмму великому князю; требовать *правительство доверия;* и требовать, правда в почтительной форме, приёма своих представителей Государем. Никакой городской думы не было это дело, но московская считалась знаменем российского общества, излюбленным голосом и центром его.

И 19 августа снова завихрились прения в напуганном, бессильном Совете министров. Спорили, не дослушивая и перебивая друг друга.

> Щербатов: Требования московской думы об аудиенции недопустимы и по форме и по существу. Нельзя вести с Царём политические беседы помимо правительства и законодательных учреждений. Либо есть правительство, либо его нет. За Москвой потянутся другие города, и Государя завалят сотнями петиций.
>
> Горемыкин: Самое простое — не отвечать всем этим болтунам и не обращать на них внимания, раз они лезут в сферу, им не подлежащую. Нам надо поддержать Государя Императора в трудную минуту и найти то решение, которое облегчит его положение. Так называемые общественные деятели вступают на такой путь действий, что им надо дать хороший отпор.
>
> Харитонов: Вопрос, чреватый последствиями. Не надо забывать, что москвичи говорят под флагом верноподданнических чувств. Их обращение к великому князю — предупреждение, этого нельзя игнорировать.
>
> Поливанов: Не могу согласиться с упрощённым решением вопроса величайшей политической важности. Смена командования после московской резолюции произведёт удручающее впечатление и будет истолкована как вызов. И что такого революционного в резолюции? Правительство, опирающееся на доверие населения, это нормальный государственный порядок.
>
> Сазонов: Московские события убеждают меня в необходимости во что бы то ни стало отложить вопрос о командовании.
>
> Самарин: Настроение в Москве — яркое и быстрое подтверждение

тому, что я говорил. Перемена командования грозит самыми тяжкими последствиями для нашей родины. Нельзя отказать и в приёме московского городского головы — это было бы незаслуженной обидой первопрестольной столице. И приём должен быть особенно милостивым и благосклонным, приласкать.

Всего несколько дней назад они все же примирились со сменой Главнокомандования, искали мягкие формы рескрипта, — теперь московская дума ожигательно подстегнула их прежние возражения.

Кривошеин: Таковы и мои сведения из Москвы: настроение там очень повышенное, и может создаться обстановка, в которой ведение войны окажется безнадёжным. Избегать обострять общественное раздражение. Вопрос представляется ещё более широким и принципиальным. В каком положении мы окажемся, если вся организованная общественность будет требовать власти, облечённой доверием страны? Такое положение не может длиться долго. Надо это откровенно сказать Государю, который не осознаёт окружающей обстановки, не даёт себе отчёта, в каком положении находится его правительство и всё государственное управление. Мы должны открыть монарху глаза на остроту настоящей минуты. Сказать Его Величеству, что либо надо реагировать с силой и верой в своё могущество,

— этот вариант он называл лишь формально, никто уже не верил в этот путь, —

либо открыто завоёвывать для власти моральное доверие. Золотая серединка всех озлобляет. Или сильная военная диктатура, или примирение с общественностью. Наш кабинет не отвечает общественным ожиданиям и должен уступить место другому, которому страна могла бы поверить.

(Впрочем, сам он наверняка должен был сохраниться в том новом кабинете.)

Ставшее повсеместно известным решение принять Главнокомандование — пагубное, результаты его будут самыми тяжкими для России и для успеха войны. И это — риск для династии. Надо просить Его Величество собрать нас и умолять отказаться от смещения великого князя, в то же время коренным образом изменив и характер внутренней политики. Я долго колебался раньше, чем окончательно придти к такому выводу, но сейчас каждый день равен году. Это не революция, а бесконечный страх населения за будущее. Увольнение великого князя недопустимо, однако и полный отказ отразился бы на авторитете монарха. Нужен компромисс: назначить великого князя своим помощником. Перед Государем мы должны быть тверды, не только просить, но и требовать. Пусть Царь нам головы рубит, сошлёт в места отдалённые (к сожалению, он этого не сделает), но в случае отказа на наши представления мы должны заявить, что не в состоянии больше служить ему по совести.

Шаховской: Мы стоим на повороте, от которого зависит всё дальнейшее. Пока общественные пожелания остаются умеренными — опасно было бы отметать их огулом.

Поливанов: По слухам, доходящим до военного ведомства, солдаты в окопах высказываются, что у них хотят отнять последнего заступника, который держит генералов и офицеров.

Игнатьев (просвещение): Среди молодёжи высших учебных заведений идёт брожение на почве симпатий к великому князю. Со стороны студенческой массы возможны выходки и протесты.

Самарин: А какое впечатление произведёт на верующих, когда в церквах перестанут поминать на ектеньях великого князя, о котором уже год молятся как о Верховном Главнокомандующем? На эту подробность тоже обратить внимание Государя. Да неужели Совет министров настолько бессилен, что не сможет добиться принятия спасительного компромисса?

Так создалась стена дерзких министров, и Горемыкин согласился не препятствовать их последней попытке, хотя сам считал, что решение государево неизменно.

Но в беседе с Государем всячески остерегаться говорить об ореоле великого князя как вождя.

Он тотчас доложил Государю — и на вечер 20 августа они были позваны в Царское Село.

Государь поражался: его кабинет бушевал как левое крыло Думы? — хлестнула волна и сюда! И даже ещё в чём-нибудь другом он мог стерпеть их оппозицию, прислушаться к ним,— но как они смели залезать в самую сокровенную глубину царской души: в его долг перед страной, соединение со своим народом? В его царское положение как орудия Божьего Промысла? Почему они лезли туда, где может парить только беззвучие и царская молитва? И что они понимали в военном деле — разве они служили в полках? участвовали хотя бы в манёврах? И разве могли они оценить, что Николаша дерзко повёл себя как повелитель России? — он так использовал свой пост, что и действительно мог бы посягнуть на Верховную власть. И почему Верховное Главнокомандование должно решаться не Царём, но московской думой, но адвокатами и журналистами? да даже хоть и министрами? И не общественная ли запальчивая критика Ставки первая и толкнула Государя на мысль о смене? Что ж остаётся от монархии? Целый год Царь казался недвижим и безучастен — и всем это приходилось плохо. Наконец он решился проявить себя — и всем это пришлось ещё хуже.

А командовать своею армией — была его заветная мечта. Его звал к этому жребию внутренний голос, долг Помазанника, независимо от победы или поражения войск. Его совесть не могла обмануть!

И не оставлял его поддерживающий голос императрицы:

> Они слишком привыкли к твоей мягкой всепрощающей доброте. Они должны выучиться дрожать перед твоим мужеством и твоей волей. Я знаю, как тебе это дорого обходится, но быть твёрдым — это единственное спасение. Слава твоего царствования приходит тогда, когда ты твёрдо держишься против общего желания. Меньше обращай внимания на советы других. Ах, когда ты наконец хватишь рукой по столу и накричишь, что они неправильно поступают. Тебя — не боятся. Ты должен их напугать, иначе все садятся на нас верхом. Если бы твои министры боялись — всё шло бы лучше. Меня приводит в бешенство, что министры ссорятся, это предательство. Ты слишком мягок, так не может продолжаться. Все, кто любят тебя, хотят, чтобы ты был строже. Ах, мой мальчик, заставь их дрожать перед тобой!

Да он — уже решился бесповоротно, и только досадно задерживали его министры все эти недели колебаниями и отговорками. (И так ему нравилось это новое название: «Царская Ставка» в конце будущих приказов!) Но вот — предстояло ещё раз выдержать столкновение с ними,— и Государь боялся, зная свою уступчивость, прислушливость, — боялся, что его отговорят. И перед выходом к министрам он расчесался магическим, как уверял Григорий, гребешком, придающим стойкость. И знал, что императрица с Аней Вырубовой будут подходить извне с балкона, к окнам их освещённого вечернего заседания — смотреть на него, молиться и гордиться.

И с напряжением небывалым, уже в крупных каплях пота, Государь выдержал это мучительное заседание 20 августа, выслушивал горячие, слитные и сумбурные отговоры, возражения и убеждения министров — и всё-таки не сдался! Устоял! Стягом всей своей воли, высшим усилием он ответил министрам: да! да! да! Принимаю Верховное Главнокомандование, и немедленно уезжаю в Ставку, и вопрос окончен обсуждением.

Да ведь уже знала вся страна! — как же было отказаться?.. И ещё такое торжество доставить Николаше?.. (Написал ему: прощаю вам — то есть с Янушкевичем — ваши грехи. То есть и заговоры.)

И оттого, что он так редкостно не уступил хору министров, — Государь им простил их дерзкое сопротивление, простил — за то, что оказался увереннее их. Восторжествовав над ними — он настроился благодушно. (А если б он уступил им — через час он уже тяготился бы своим поражением невыносимо, и должен был бы всех их увольнять, освобождаться от них.) И благоугодно согласился: через день, 22-го, торжественно и милостиво открыть Особые Совещания по военному снабжению, топливу, перевозкам, куда члены Думы и общества допускались теперь работать с министрами.

Но ещё 21-го кабинет собрался в Елагином дворце, крайне возбуждённый от своей неудачи. Сазонов и Поливанов исходили от раздражения. У них появился тон такой резкий, как если б они были не из правительства, а из думской оппозиции. Кривошеин вообще отсутствовал, уже не теряя времени тут. Оппозиционные министры тайно собирались накануне царскосельского заседания, предстояло им тайно собраться

и сегодня, а пока здесь, с Горемыкиным, сознание их двоилось, и что-то из тайного они выговаривали здесь, да ведь и это заседание было секретным.

Оказалось, что хотя вчера проспорили с Государем весь вечер — а ничего не решено: каково же будет направление внутренней политики: диктатура или уступки? и что же отвечать московской думе?

Горемыкин предложил: изъявить высочайшую благодарность за верноподданнические чувства. Ему возразили, что это будет ирония, а московская телеграмма написана кровью болеющих за родину людей. Самое правильное — исполнить все пожелания московской думы. (Так и о великом князе опять?)

Щербатов: А посыпятся сотни таких телеграмм изо всех городов? Нельзя их признавать революционными. Ответом Москве предрешается направление внутренней политики.

Поливанов: В этом ответе Россия должна увидеть, что её ждёт в ближайшем будущем.

Григорович: В критической обстановке нельзя играть в прятки. Целый месяц мы топчемся на месте.

Вчера Государь заявил, что великому князю он верит. Но —

Сазонов: Какой стилист может соединить *доверие* великому князю с отчислением его на Кавказ? Начнут говорить, что Царь у нас вероломный.

Так оказалось — и о великом князе ещё не решено?

Григорович: Наша обязанность сделать ещё последнюю попытку — представить Его Императорскому Величеству письменный доклад об опасности для династии, верноподданно заявить: не делайте бесповоротного шага, не трогайте великого князя!

Горемыкин: Государь Император вчера совершенно определённо сказал, что на днях выезжает в Могилёв и там объявит свою волю. Какие же тут возможны доклады? Недопустимо, чтобы Совет министров тревожил Царя в исторический час его жизни и напрасно волновал бесконечно-измученного человека.

Сазонов: Наш долг в критическую минуту откровенно сказать Царю, что при слагающейся обстановке мы неспособны управлять страной, бессильны служить по совести.

Горемыкин начал понимать, что министры без него сговорились тайно:

То есть, говоря просто, вы хотите предъявить своему Царю ультиматум?

Сазонов: Нам доступны только верноподданнические моления. Не будем спорить о словах. Дело не в ультиматумах, а сделать последнюю попытку указать на всю глубину риска для России, предупредить его о смертельной опасности.

Щербатов: Правительство, которое не имеет за собой ни доверия Государя, ни армии, ни городов, ни земств, ни дворян, ни купцов, ни рабочих — не может даже существовать. Мы умоляли устно — попробуем в последний раз умолять письменно. Если с нашим мнением не желают считаться наверху — наш долг уйти.

Шаховской: В редакции доклада надо всячески избежать оттенка, который навёл бы на мысль о *забастовке* (министров). Государь вчера произнёс это слово.

Игнатьев: Мы должны снять с себя упрёк, что мы молчали в минуту величайшей опасности для России.

Самарин: Вопрос идёт о грядущих судьбах России, и мы участники великой трагедии. В общем голосе страны проявляется здоровье, правильное чувство, навеянное тревогой за родину.

Горемыкин: Чрезмерная вера в великого князя и весь этот шум вокруг его имени есть не что иное, как политический выпад против Царя. Добиваются ограничения царской власти. Левые политики хотят создать затруднения монархии и для этого пользуются несчастьем, переживаемым Россией.

Сазонов: Мы категорически оспариваем такое истолкование обще-

ственного движения. Оно не результат интриги, а крик самопомощи. К этому крику и мы должны присоединиться.

Горемыкин: Усердно прошу вас всех доложить Государю о моей непригодности и о необходимости замены меня. Буду до глубины души благодарен за такую услугу. Поклонюсь низко тому, кто заменит меня. Но сам прошения об отставке не подам и буду стоять около Царя, пока он не признает нужным меня уволить.

Такого резкого упрямства никто из них не ожидал от этого затяжливого рассудительного старика. Но и спор их был никак не личный, а всё более вырастал в понимание монархии в её трудный час. Сазонов (более всех тут и виновный в возникновении этой войны):

Когда родина в опасности, рыцарское отношение к монарху красиво, но и вредно для неизмеримо более широких интересов. Мы хотим предостеречь Царя от фатального шага, вы — себя и Россию ведёте на гибель. Наш патриотический долг не позволяет помогать вам. Подыщите себе других сотрудников. А мы должны объяснить Царю, что спасти положение может только примирительная к обществу политика.

Горемыкин: В моей совести Государь Император — Помазанник Божий. Он олицетворяет собою Россию. Ему 47 лет, он распоряжается судьбами народа не со вчерашнего дня. Когда воля такого человека проявилась — верноподданные должны подчиняться, каковы бы ни были последствия. Поздно мне на пороге могилы менять мои убеждения. От своего понимания служения Царю я отступить не могу.

Щербатов: И Самарин, и я — бывшие губернские предводители дворянства. До сих пор никто не считал нас левыми. Но мы оба не можем понять такого положения в государстве, чтобы монарх и его правительство находились в радикальном разноречии со всей благоразумной общественностью (о революционных интригах говорить не стоит). Наша обязанность сказать Государю, что для спасения государства от величайших бедствий надо вступить на путь направо или налево. Положение не допускает сидеть между двух стульев.

Министры говорили: решиться на действия в какую-*либо* сторону, но решались именно на уступки.

Сазонов: Государь — не Господь Бог. Он может ошибаться.

Горемыкин: Хотя бы Царь и ошибался, но покидать его в грозную минуту я не могу. Не могу требовать увольнения в минуту, когда все должны сплотиться вокруг Престола и защищать Государя. Весь этот вопрос о командовании раздут намеренно. Сейчас отказ Государя от своего решения был бы гораздо более чреват последствиями.

Самарин: Я тоже люблю своего Царя, глубоко предан монархии и доказал это всей своею деятельностью. Но если Царь идёт во вред России, то я не могу за ним покорно следовать.

Харитонов: Если воля Царя грозит России тяжкими потрясениями, то надо отказаться от её исполнения и уйти. Мы служим не только Царю, но и России.

Горемыкин: В моём представлении эти понятия неразделимы.

Харитонов: В отличие от вас, мы считаем, что подчинение должно быть не с закрытыми глазами. Нельзя принимать участие в том, где мы видим начало гибели нашей родины.

Сазонов: Трудно при современных настроениях доказать совпадение воли России и Царя. Как раз обратно.

Самарин: Русскому Царю нужна служба сознательных людей, а не рабское исполнение приказаний. Царь может нас казнить, но сказать ему правду мы обязаны. На порыв общества мы должны ответить благожелательством.

Горемыкин: Русскому человеку нельзя бросать своего Царя на перепутьи. Так я думаю и в таком сознании умру.

И лишь один человек в правительстве поддержал председателя, министр юстиции, старый

Хвостов: Я сомневаюсь в правильности анализа, что мы имеем

дело с бескорыстным патриотическим движением. К нему примазываются тёмные личности, его используют для достижения партийных стремлений. Наиболее рьяные патриоты и приверженцы общественных домогательств обращались за активной поддержкой к московским рабочим, но потерпели неудачу: заводы ответили, что будут работать до окончательной победы. Подобные обращения — не патриотический акт, а уголовно-наказуемый. Предъявляются требования об изменении государственного строя не потому, что такое изменение необходимо для победы, а потому что военные неудачи ослабили положение власти, и на неё можно давить, ножом к горлу. По-моему, политика уступок вообще неправильна, а в военное время недопустима. Политика уступок нигде в мире не приводила к хорошему, а всегда влекла страну по наклонной плоскости. Призывы, исходящие от Гучкова, левых партий Думы и коноваловского съезда, рассчитаны на государственный переворот. Это повлечёт за собой гибель отечества.

С а з о н о в: Вы не верите даже Государственной Думе! А она со своей стороны не верит нам. Мы и считаем, что выход — в примирении, в создании такого кабинета...

Так снова и снова спор возвращался к главному. Дело было не в великом князе, а в министрах, которым доверит общественность. Нынешнего правительства не хотела Дума — и сами министры не хотели себя здесь. Они бушевали, не умеряя себя и сами себя уже не вполне понимая.

Г о р е м ы к и н: Уступками вы ничего не достигнете. Все партии переворота пользуются военными неудачами для усиления натиска на власть, для ограничения монаршей власти.

И в тот же вечер, собравшись в служебном кабинете Сазонова на Дворцовой площади, у Певческого моста, 8 министров (было бы 10, но военный и морской не могли по уставу, а всего в кабинете без Фредерикса 13), подписали коллективное письмо Государю: их коллективную отставку по несогласию, в сущности ультиматум, — небывалый случай в истории императорской России. (Но их расчёт был, что не может Государь расстаться сразу с восемью министрами!) Изобрёл такой шаг — Самарин, и в нём же сложился проект текста, дорабатывали Кривошеин с Харитоновым, переписал Барк своим хорошим почерком. И передали через флигель-адъютанта.

...Не поставьте нам в вину наше смелое откровенное обращение... Вчера мы повергли перед Вами единодушную просьбу, чтобы великий князь Николай Николаевич не был отстранён. Но опасаемся, что Вашему Величеству не угодно было склониться на мольбу нашу и, смеем думать, всей верной Вам России... Мы теряем возможность с сознанием пользы служить Вам и родине.

А на следующий день, 22 августа, в Зимнем дворце состоялась заранее назначенная процедура открытия Особых Совещаний по обороне — и все министры должны были присутствовать и сверкать всеми орденами. Это был акт официального привлечения законодательных учреждений и торгово-промышленного класса к делам ведения войны. Государь произнёс речь, составленную для него Поливановым и Кривошеиным, затем милостиво обходил присутствующих. (Вошла и императрица с наследником. Болезненного вида и в солдатской гимнастёрке, мальчик производил щемящее впечатление.) Опасались, не выступил бы с неловкими поучениями сумасшедший Родзянко, но обошлось. Обе стороны сияли удовлетворением. Министры с тревогой следили за Государем и удивлялись, что он не переменился к ним в обращении. (А он просто ещё не получил их ультиматума.)

Казалось: страна сотрясается в свои роковые дни — а церемония в Зимнем выглядела мирно, торжественно, благожелательно.

И в тот же вечер, покинув министров в неведении о судьбе их отставки, Государь отбыл в Могилёв, сменять великого князя.

Сего числа Я принял на Себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами, находящимися на театре военных действий.

И в тот же день оглашено было важное заявление о создании Прогрессивного блока.

Но чем решительнее повели себя министры относительно Верховной власти — тем более они теперь зависели от единения с Думой. Уж не вспоминали совет Шаховского:

внести в Думу острый законопроект, чтобы рассорить разнородные партии блока, напротив, кривошеинский кружок министров искал в блоке опоры для правительства, искал, как сговориться о единой программе действий. Лозунги Думы проникали и сквозь оболочку правительства, в груди министров, соблазнительные лозунги — единство с обществом, доверие народа (а сами министры разве не считали себя обществом?), и ведь их тоже могли пригласить в то правительство, но уже не придётся заседать с неуступчивой енотовой шубой Горемыкиным, а уверенно вести Россию в полномочии от народа. Однако блок от соединения партий не стал средним арифметическим, а полевел, и ещё повраждебнел к правительству, и не скрывал, что его интересует прежде всего не программа, а смена лиц: прежде всего убрать Горемыкина, затем теснить и других.

Каждый день заседали между собой вожди блока и другие прогрессивные деятели.

Челноков: Условия Блока не должны быть ультимативны, Блок тоже может уступать. Общество ещё может влиять на правительство манифестационной кампанией.

Коновалов: Переговоры с правительством бесплодны. Низы народа близки к отчаянию.

(Фабрикант знает.)

Князь Г. Львов: Правительство толкает общество на отчаяние, а мы должны удержать его от анархии.

(За князем уже заметили, что он сам готовится в премьеры.)

Рябушинский: Никакая работа при данном правительстве невозможна. Сейчас клянчат в Англии заём. Как только получат — Думу разгонят.

Ефремов: Разгонят Думу — не расходиться! Воззвание к народу!!!

Милюков: Думу ни в коем случае не распустят.

А депутаты, прибывшие из Действующей армии:

Да что вы! Да если только Думу тронут — вся армия встрепенётся!

А правые, всегда против народа, шумели в Думе:

Довольно ваших заседаний! Дела зовут в деревню! и на фронт!

И покидая сессию, разъезжались самочинно.

И правительство размышляло, что же делать с Думой. При всей разноте между министрами, они склонялись, что удобней бы распустить её на вакации.

Кривошеин: Практически Дума исчерпала предметы своих занятий, и в ней создаётся тревожное настроение. Речи и резолюции могут принять открыто революционный характер. Словоговорение увлекает, и ему нет конца. Заседания без законодательных материалов превращают Думу в митинг по злободневным вопросам.

Горемыкин: На Западе сейчас не собирают законодательных палат, а только комиссии их, — но комиссии и у нас работают.

Срочные законы и меры, вызываемые военным положением, безнадёжно было бы пытаться провести через Думу, а при её сессии невозможно и в обход, по 87-й статье.

Щербатов: Нет, ещё не все законопроекты кончены. Нужна санкция Думы для Особого Совещания по беженцам. Присутствие в нём выборных представителей необходимо, чтобы снять с одного правительства ответственность за ужасы беженства и разделить её с Государственной Думою.

Кривошеин: Я думаю, пропустят без задержек. Слишком очевидна необходимость.

Харитонов: Дума отучила нас от оптимизма. Ею руководят не общие интересы, а партийные соображения. Если узнают, что роспуск откладывается из-за беженцев, то закон будут затягивать.

Горемыкин: Сказка про белого бычка. И всё равно будут взваливать всю ответственность на правительство. Совещание по обороне состоит из выборных, а за недостатки снабжения ругают исключительно нас.

Кривошеин: Перерыв сессии должен последовать до 1 сентября. Обстановка такова, что расставание с Думой надо обставить благопристойно, сговориться с президиумом, а не как снег на голову.

Харитонов: Родзянко встанет на дыбы и будет утверждать, что спасение России только в Думе.

Горемыкин: Если заговорить с Родзянко, то этот болтун сразу раззвонит на весь свет.

Игнатьев: Не исключена возможность, что Дума откажется подчиниться и будет продолжать заседать.

Щербатов: Вряд ли. Огромное большинство их трусы и дрожит за свою шкуру.

Шквал налетал за шквалом в это ужасное лето. Не успели перебояться народного взрыва от перемены командования — начинали бояться народного взрыва от роспуска Думы. У Горемыкина лежали уже готовые, подписанные Государем (из-за того, что он уехал в Ставку) указы о перерыве занятий законодательных учреждений, и ему предоставлено вписать день роспуска. Но — какой? но — можно ли?

Хвостов: Г-н Милюков, как мне передавали, откровенно хвастает, что у него в руках все нити и что в день смены Верховного Главнокомандования стоит ему только нажать кнопку, чтобы по всей России начались беспорядки.

Горемыкин: Я настолько верю в русский народ, что не допускаю мысли, что он ответит своему Царю беспорядками, да ещё в военное время. При всеобщем шатании умов — смуту создают речи левых депутатов в Думе и злоупотребления печатным словом.

Щербатов: Ведётся напряжённая пропаганда во внутренних гарнизонах и лазаретах.

Сазонов: Несомненно разгон Думы повлечёт за собой беспорядки среди рабочих. Отметать общественные элементы недопустимо.

Григорович: Беспорядки неизбежны, настроение рабочих очень скверное. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации. Сейчас особенно остро на Путиловском заводе: рабочие стоят у станков, но ничего не делают, требуя 20 процентов прибавки. Я очень опасаюсь, что прекращение занятий Думы тяжело отразится на внутреннем положении в России.

Поливанов: Вся подготовка обороны — на обществе и рабочих. Если те и другие будут доведены до отчаяния...

Горемыкин: Ставить рабочее движение в связь с роспуском Думы — неправильно. Оно шло и будет идти. Не спорю, роспуск будет использован для агитации. Но и если Дума будет оставаться, мы ничем не гарантированы. Будем мы с блоком или без него — для рабочего движения безразлично.

Кривошеин: Если всего бояться — то всё погибнет. Я повторяю: нельзя дальше держаться серединки.

В Кривошеине боролась любовь к сильной власти, определённым действиям. И — готовность к ним. И — неготовность к ним. И сейчас, когда дни Горемыкина казались всё более сочтены, и разумно ничья кандидатура взамен не могла стать раньше кривошеинской, и нависали переговоры с думцами о программе блока, — Кривошеин нуждался уйти со сцены, не связывать себя ни переговорами, ни программой, уйти от главных обсуждений, а тем временем — соприкоснуться с нутром оппозиционной Москвы. И в эти напряжённые дни уехал к своим купеческим родственникам и знакомым в Москву.

А между тем 25 августа Прогрессивный блок опубликовал и предложил правительству свою программу. Положение ещё более усложнялось.

Сазонов: Выгодно ли распускать Думу, не поговорив с большинством о приемлемости этой программы? Я уверен, что можно будет сговориться, тогда и распустить. Люди разъедутся по домам с сознанием, что правительство идёт навстречу справедливым пожеланиям. Этот блок, по существу умеренный, надо поддержать. Если он развалится, то возникнет гораздо более левый. Опасно провоцировать непарламентские формы борьбы. Эти люди болеют душой за родину, а их объявляют незаконным сборищем? Правительство не может висеть в безвоздушном пространстве и опираться на одну полицию.

Что за лето такое ужасное? Какой вопрос ни возьми, все они двоятся, троятся, множатся — и где же истина?

Горемыкин: Разговоры с блоком я считаю для правительства недопустимыми. Мы можем иметь дело только с законодательными учреждениями, а не со случайным объединением их представителей. Блок создан для захвата власти. Его плохо скрытая цель — ограничение царской власти. Он всё равно развалится, и его участники между собой переругаются.

Шаховской: И оставление Думы, и роспуск её одинаково опасны. Я высказываюсь за роспуск, но сделать это по-хорошему, поговорить с представителями блока о программе. Так мы откроем выход самим думцам, которые жаждут роспуска, ибо чувствуют безнадёжность своего положения.

Щербатов: Наш разлад с Думой раздражает страну. Но важно провести роспуск без поводов к скандалу. Отрицать нельзя, программа блока шита нитками и составлена в расчёте поторговаться. Но развал блока был бы правительству невыгоден, поставил бы его перед левыми течениями. Нельзя допускать, чтобы благоразумная часть Думы разъехалась, обиженная невниманием. А Родзянко больше всех обозлён, что правительство не принимает его всерьёз.

Сазонов: Большинство Думы считает, что роспуск нужен, и не будет нам мешать прервать сессию.

Пришли к тому, что нужно провести переговоры, пока неофициальные, частью министров с несколькими вождями блока. Продемонстрировать, что правительство не отвергает общественные силы.

Анализ программы блока приводил к удивительному выводу: кроме демагогических всплесков о власти, опёртой на народное доверие, программа блока была достаточно робкая, его требования либо уже находились в стадии выполнения, либо не были кардинальны, либо блок не очень на них и настаивал, готов был смягчать и уступать. Требовали политическую амнистию, но легко разгадывалось, что хотят прощения участникам Выборгского воззвания, дать им наконец возможность быть избираемыми, — против этого не возражало и правительство.

Хвостов: Да многие политические дела уже закончены в порядке монаршего милосердия, и не мало джентльменов гуляет на свободе.

Но думские лидеры конфиденциально и журили правительство за то, что постоянно кого-то из политических освобождая, оно не умеет устроить этому широкую рекламу и извлечь политический эффект, что было бы выгодно и думцам.

Щербатов: Надо сделать с рекламой. Взять десяток-другой особенно излюбленных освободителей и сразу выпустить их на свет Божий с пропечатанием во всех газетах.

Так же и с чисткой местной администрации и с улучшением приёмов управления — правительство не имело навыков рекламы.

Блок ещё раз настаивал на веротерпимости, но больше для приглядности своей позиции — веротерпимость и так уже осуществлялась.

Горемыкин: Но как прикажете быть, когда люди прикрываются религиозной неприкосновенностью для достижения политических целей?

По польскому вопросу уже многое делалось и ничего ярко определённого блок не мог присоветовать. Льготы малороссийской печати (не сепаратной, вскормленной австрийцами) ничего не стоило и дать. По еврейскому вопросу сама программа блока была петлисто-оговорчива: «вступление на путь отмены ограничения в правах», — но черта оседлости только что была разломана, открыты все города, а в деревни евреи и не просились; и в учебные заведения ограничения для евреев всё снимались, и в профессиональной деятельности тоже. Развитие еврейской печати? — и очень хорошо, пусть тратят деньги на свои органы, а не на то, чтобы поворачивать русские. Не вызывала спора «благожелательность в финляндской политике». Да уж куда было больше благожелательности? Финляндия не участвовала в расходах на войну, её марка спекулятивно головокружительно повышалась за счёт рубля, за счёт основной России. Население было освобождено от призыва и не несло натуральных повинностей. Преследование рабочих больничных касс? Его и не было, если те не служили прикрытием подпольной деятельности.

И вот оказалось, что по большей части программы нет непримиримых разногласий, легко сговориться.

Сазонов: Если только обставить всё прилично, дать лазейку, то

кадеты первые пойдут на соглашение. Милюков — величайший буржуй и больше всего боится социальной революции. Да и большинство кадетов дрожат за свои капиталы.

Самарин: Слово «соглашение» недопустимо в отношении такой пёстрой компании, большинство которой движимо низменными побуждениями захвата власти любой ценою.

И так 27 августа на квартире Харитонова четверо министров встретились с лидерами блока с целью взаимного осведомления.

И встреча показала то, что уже и было ясно министрам: их разделяли с блоком не пункты, и в пунктах блок готов был уступать, но расплывчатая преамбула:

...власть, опирающаяся на народное доверие... Создание правительства из лиц, пользующихся доверием страны.

(Так сразу — доверием целой страны.)

Что ж это за люди? Где они?

Вожди блока подразумевали самих себя, и вся-то программа их только и сводилась — к людям, которые составят власть. Нынешняя обстановка казалась им очень удобной для такого вхождения. Они ждали возможностей поторговаться, а роспуска Думы как будто не ожидали.

Горемыкин: Правительству нечего идти в хвосте у блока. В нынешней внутренней и внешней обстановке надо действовать, иначе всё рухнет. Разойдётся ли Дума тихо или со скандалом — безразлично. Но я уверен, что всё обойдётся благополучно и страхи преувеличены.

Сазонов. Могут возникнуть серьёзные конфликты, которые тяжко отразятся на стране.

Горемыкин: Всё равно, пустяки. Никого, кроме газет, Дума не интересует и всем надоела своей болтовнёй.

Сазонов: Категорически утверждаю, что мой вопрос не «всё равно» и не «пустяки». Пока я состою в Совете министров, я буду повторять, что настроение депутатов влияет на общественную психологию.

Поливанов, Игнатьев: Вопрос сводится к форме и обстановке роспуска Думы, пройдёт ли он по-хорошему или во враждебной атмосфере.

Щербатов: За последнее время акции Государственной Думы в стране сильно пали. Но среди населения вкоренилось и то, что правительство стоит в стороне и ничего не хочет делать.

Это заседание, 28 августа, Горемыкин вёл в прежнем убеждении, что обсуждается только факт, акт и дата роспуска Думы, и всё никак он не мог получить ясного согласия от министров. А между тем воротившийся из Москвы и долго сидевший непроницаемо молча, вступил Кривошеин. По́мнилось, что четыре дня назад, перед отъездом, он соглашался на роспуск Думы до 1 сентября и только требовал от правительства общей крутой решимости. Но вот он съездил в оппозиционную Москву — и чего-то иного набрался там, что-то в нём переменилось, однако он хотел бы это изобразить как прежнее. Теперь он выступил и повернул всё обсуждение:

Передо мной становится другой вопрос. Какое возможно при роспуске правительственное заявление в Думе? Что мы ни говори, что ни обещай, как ни заигрывай с Прогрессивным блоком, — нам всё равно ни на грош не поверят. Ведь требования Думы и *всей страны* сводятся к вопросу не программы, а людей, которым вверяется власть.

И надо не искать день для роспуска Думы, но принципиально спросить

об отношении Его Императорского Величества к правительству настоящего состава и к требованиям страны об исполнительной власти, облечённой общественным доверием.

Он — взрывал это застоявшееся нерешительное правительство. Он говорил — в формулировках блока, как представитель общества, а не кабинета министров, — вот какую уверенность дала ему эта московская поездка.

Пусть Монарх решит, как ему угодно направить дальнейшую внутреннюю политику, по пути ли игнорирования таких пожеланий,

выше названных требованиями,

или же по пути примирения, избрав во втором случае пользующееся общественными симпатиями лицо и возложив на него образование правительства.

То есть, он объявлял о снятии Горемыкина и, очевидно, сам шагал к посту премьера, решился!

Невозмутимый Горемыкин всё понял, но ещё пытался как ни в чём не бывало вести правительство к поиску даты роспуска. Однако Кривошеин — ничего не хотел говорить ни о какой дате, а министры, подхватываясь один за другим, выказывали, что они либо в сговоре с Кривошеиным, либо в душевном единстве с ним, и министерская забастовка не оставлена.

Сазонов: Всецело примыкаю. Кристаллизовано то, вокруг чего мы ходим уже много дней. Довести до сведения Его Величества.

Игнатьев: Присоединяюсь.

Харитонов: Совершенно согласен.

Горемыкин, оставаясь:

Следовательно, вопрос о роспуске Думы должен быть отложен до распределения портфелей? и ограничения Монарха в прерогативе избрания министров?

Кривошеин из нападательной позиции:

Я готов согласиться на одновременность роспуска Думы и смены кабинета.

Да ведь уже 7 дней прошло, как они решились на коллективную отставку — а Государь молчал. Весьма сомнительна была милость Государя, оставлявшего бунтовщиков на местах. Теперь возник неповторимый момент: овладеть правительством, опираясь на разгон Думы!

Щербатов: Действительно, пора перестать топтаться на одном месте. Недовольство в стране растёт с угрожающей быстротой. Надо призвать новых людей. Наш долг просить Его Величество покончить с неопределённостью. Перемены кабинета желает вся страна, и я к ней примыкаю.

Вытягивал неуклоняемый монархист

Горемыкин: Значит, решение надо перенести с нас на Государя Императора?

Да! — соглашались Щербатов и Шаховской, а Кривошеин расширялся дальше:

Мы, старые слуги Царя, берём на себя неприятную обязанность роспуска Думы и вместе с тем твёрдо заявляем Государю Императору, что положение страны требует перемены кабинета и политического курса.

Горемыкин: Кто ж эти новые люди? Представители фракций или чины администрации? Вы предполагаете одновременно назвать Государю кандидатов?

Кривошеин: Лично я подсказывать не собираюсь. Пусть Государь пригласит определённое лицо и предоставит ему наметить своих сотрудников

(как ещё никогда в России не делалось, Государь всегда сам назначал всех министров).

Горемыкин: Значит, поставить Царю ультиматум — отставка Совета министров и новое правительство, в согласии с пожеланиями Прогрессивного блока? Навязывать Государю Императору личностей, ему не угодных, я не считаю возможным. Мои взгляды архаичны, мне поздно их менять.

Но к прениям опоздал Самарин. И хотя именно он неделю назад был главным зачинателем коллективной отставки — теперь он показал свою самобытность:

Я бы затруднился подписаться под ссылкой на желание всей страны, ибо анкеты не было, и никто истинных стремлений не ведает. Государственная Дума не может считаться выразительницей мнения всей России, её непримиримые требования зависят от партийных соображений и интересов. Если же смена правительства есть наше личное требование, то мы не в праве переносить на Государя тяжесть выбора и тем отягощать его трудное положение. Надо представить Его Величеству основания программы и одновременно доложить, что в Совете министров нет сплочённости и поэтому мы ходатайствуем о создании взамен нас другого правительства. И тогда наш долг указать приемлемое лицо, ибо общие фразы об общественном доверии ничего не значат и являются лишь приёмом пропаганды.

Если же Государь наше общее ходатайство отклонит, каждому из нас останется поступить, как подскажет долг верноподданного своего Царя и слуги России.

Всё расплылось, и Горемыкин уже не мог просто вписать в указ недостающую дату роспуска. И теперь не было рядом Государя — и за подкреплениями и указаниями он естественно ездил в Царское Село на приёмы к государыне. От неё к супругу в Могилёв сперва лились одобрения:

Ты спас Россию и трон этим поступком. Ты исполнил свой долг. Это — начало торжества твоего царствования (наш Друг так и сказал!). Никогда раньше в тебе не видели такой твёрдости. Тебе пришлось выиграть бой одному против всех. Ты держался среди министров как настоящий Царь, я горжусь тобой. Ах, душка, чувствуешь ли ты теперь свою силу и мудрость, что ты хозяин и не даёшь себя оседлать другим? Ты доказал, что ты самодержец, без которого Россия не может существовать. Теперь — вели Николаше нигде не задерживаться, поскорее ехать на юг. Всякие дурные элементы собираются вокруг него и стараются воспользоваться им как знаменем.

Затем — и новые заботы:

Они (Дума) не могут переварить твою твёрдость — так продолжай в том же духе! Раз ты показал свою волю — теперь легко продолжать, показывай свои энергические стороны, используй свою метлу. Дума причинила тебе более хлопот, чем радости. Сейчас они должны бы работать по своим местам — а здесь захотят вмешиваться и говорить о вещах, которые их не касаются. От них будет только зло, они слишком много говорят. Эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, в которые они не смеют. Поскорее закрой Думу, прежде чем будут поставлены их запросы. (Они не смеют касаться нашего Друга!) Уже 2 недели назад её нужно было закрыть.

Но не многим лучше оказывались дела и в Совете министров:

Если только раз им уступить — они станут хуже. Надо бы выгнать нескольких министров, а Горемыкина оставить. Он — милый старик. С ним можно говорить совсем откровенно, одно удовольствие, всё видит ясно. И он откровенен с нашим Другом. Сердце жаждет единения среди министров. Мы с Горемыкиным думаем. Я поддерживаю в нём энергию. Как им всем нужно почувствовать железную волю и руку! До сих пор было царствование мягкости, а теперь должны преклониться перед твоей мудростью и твёрдостью. Прости меня, мой ангел, что я так много к тебе приставала. Поэтому и пишу тебе откровенно своё мнение, что другие тебе ничего не скажут. О, милуша, я так тронута, что ты хочешь моей помощи. Я всегда готова делать всё для тебя, но я никогда не любила вмешиваться без спроса. Да поможет мне всемогущий Бог быть достойной твоей помощницей. Ты скажи министрам, чтоб они просили разрешения представляться мне, один за другим, и я усердно помолюсь и употреблю все усилия, чтобы в самом деле быть тебе полезной. Я буду их выслушивать и повторять тебе. У меня надеты невидимые бессмертные штаны и я жажду показать их этим трусам. Необходимо всех встряхнуть и показать им, как надо думать и действовать.

Так уже через несколько дней сказывалось отсутствие Государя в столице. Посещения императрицы Горемыкиным узнавались и печатались в газетах. Горемыкин повёз свои старые кости в Могилёв — получить решение о Думе и доложить Государю о новом министерском бунте.

Этот осмеянный всем русским обществом старик сохранял мужество и твёрдость взгляда, которых не было у его министров, ни у лидеров Думы в их расцветном возрасте. Он незамутнённо видел, что волнение его министров — ажиотажное, до потери самоконтроля, но без веского основания. Уезжая в Ставку, он сказал:

Тяжело огорчать Государя рассказом о слабонервности Совета министров. Моя задача — отвести нападки и неудовольствия от Царя на себя. Пусть ругают и обвиняют меня — я уже стар и не долго мне жить. Но пока я жив, буду бороться за неприкосновенность царской власти. Сила России только в монархии. Иначе такой кавардак получится,

что всё пропадёт. Надо прежде довести войну до конца, а не реформами заниматься. Когда повсюду видишь упадок веры и духа, тысячу раз предпочтёшь отправиться в окопы и там погибнуть.

В Могилёве он доложил Государю обо всех разногласиях в правительстве, предлагал и своё увольнение как выход. Получил высочайшее повеление: Совету министров оставаться на своих местах, а Думу немедленно распустить на вакации. Собирать военный совет с участием министров Государь отказался. Говорить с министрами обещал, когда минует острота на фронте.

1 сентября Горемыкин воротился из Ставки. 2 сентября на заседании правительства царила небывалая нервность, у Сазонова почти до истерического состояния. Поливанов, по свидетельству секретаря, обливался желчью и готов был кусаться, держал себя в отношении Горемыкина неприлично. Кривошеин был безнадёжно грустен. (Вот, он решился наконец на прямые действия — а события отталкивали их.) Беседа лихорадочно перескакивала, сбивалась, возвращалась.

Поливанов: За роспуском Думы все ждут чрезвычайных событий, всеобщей забастовки.

Горемыкин: Одно запугивание, ничего не будет.

Сазонов: Говорят, члены Думы вместе с Земским и Городским съездами собираются провозгласить себя Учредительным Собранием. Везде всё кипит, доходит до отчаяния, и в такой грозной обстановке последует роспуск Государственной Думы. Куда же нас и всю Россию ведут? Для всякого русского человека ясно, что последствия будут ужасны, что во весь рост встаёт вопрос о бытии государства. Что побудило Его Величество на такое резкое повеление?

Горемыкин: Высочайшая воля, определённо выраженная, не подлежит обсуждению Советом министров.

Но обстановка действительно была удручающая. Только что открытые Особые Совещания претендовали руководить всеми делами оборонного снабжения через общественность — и даже посылать в Америку для казённых закупок представителей Земгора, а не правительства.

Щербатов: Земский и Городской союзы являются колоссальной правительственной ошибкой. Нельзя было допускать подобные организации без устава и определения границ их деятельности. Их личный состав и конструкция не предусмотрены законом и правительству не известны. В действительности они являются средоточием уклоняющихся от фронта, оппозиционных элементов и разных господ с политическим прошлым. Эти союзы произвели фактическое, захватное расширение полномочий и задач.

Кривошеин: Князь Львов стал фактически чуть ли не председателем какого-то особого правительства, он спаситель положения, он снабжает армию, кормит голодных, лечит больных, устраивает парикмахерские для солдат — какой-то вездесущий Мюр и Мерелиз. Но кто его окружает, его сотрудники, агенты? — это никому не известно. Вся его работа вне контроля, хотя ему сыплют сотни миллионов казённых денег.

И теперь эти два подозрительных союза чуть ли не намеревались объединиться в Учредительное Собрание России? И на этих днях в Москве они громко и грозно собирали свои съезды.

Щербатов: В Москве всё бурлит, раздражено, настроено ярко антиправительственно, ждёт спасения только в радикальных переменах. Собрался весь цвет оппозиционной интеллигенции и требует власти.

А так как эти съезды изображают себя учреждениями, то закон даже не может послать туда чиновников для наблюдения. Заседания в таком случае должны бы быть закрытыми, но этого никак не удаётся достичь.

Горемыкин: В Москве действует чрезвычайная охрана, и поэтому можно отправить в заседание полицию. Если съезды начнут болтать лишнее — можно их и закрыть. Собрание людей налицо и грозит созданием смуты. Дело власти прекратить безобразия, а не отличаться корректностью.

Щербатов: Что прикажете делать министру внутренних дел, если в Москве я не обладаю полнотою власти, там распоряжаются военные.

Взрыв беспорядков возможен каждую минуту, а у власти в Москве нет почти никаких сил: один запасной батальон в 800 человек, из них половина занята караулами, сотня казаков да две ополченских дружины на окраинах. И всё это — далеко не надёжный народ, двинуть его против толпы будет трудно. В уезде войск совсем нет. Городская и уездная полиция не соответствует потребностям. Ещё в Москве — 30 тысяч выздоравливающих солдат, это буйная вольница, не признающая дисциплины, скандалящая, отбивающая арестованных в стычках с городовыми. В случае беспорядков вся эта орда станет на сторону толпы.

Вся беззащитность русского государства. Её и видели — и не могли внять.

Сазонов: И съезды Союзов будут происходить на фоне роспуска Думы. Не жду ничего хорошего.

Щербатов: Говорят, среди думцев есть намерение в случае роспуска ехать в Москву и устроить там второй Выборг. Если они останутся в закрытом помещении и будут там редактировать новое воззвание — что может сделать власть?

Кривошеин: А кто сейчас распоряжается Ставкою, кто у нас Верховный Главнокомандующий! Страшно подумать, какие напрашиваются выводы. Фатальное время. Вы, Иван Логгинович, как решаетесь действовать, когда представители исполнительной власти убеждены в необходимости иных средств, когда весь правительственный механизм в ваших руках оппозиционен?

Горемыкин: Свой долг перед Государем Императором я исполню до конца, с какими бы противодействиями и несочувствиями ни пришлось столкнуться.

Сазонов: Завтра потечёт по улицам кровь! И Россия окунётся в бездну!

Горемыкин: Дума будет распущена завтра, и нигде никакой крови не потечёт.

Сазонов: Я не буду участвовать в деле, в котором вижу начало гибели своей родины!

Горемыкин закрыл заседание. Сазонов вслух обозвал его безумным, по-французски.

А Прогрессивный блок, торопя свою победу, перешагивая почти не существующее правительство, обратился прямо к Государю с меморией: теперь же учредить правительство доверия и точно определить направление политики (в пользу общества, разумеется). И им это казалось вполне возможным в обстановке тех дней. Волновались и московские рабочие, бастовали петроградские, к забастовке Путиловского присоединился Металлический (на поддержку забастовщиков всё время брались откуда-то обильные таинственные деньги) — и требовали не распускать Думу и вернуть из Сибири большевистских депутатов.

А между тем (хотя фронт именно в эти дни остановился) — катилась всё та же мнимо-стихийная, под нагайками, принудительная эвакуация прифронтовых районов со скарбом и скотом, угрожая глубинным губерниям немыслимой густотой. Новая Ставка подтвердила, что и Киев надо готовить к сдаче — и уже распоряжались несоответственно и противоречиво множество военных начальств, во всём городе возбудив панику, бестолочь и кавардак.

Поливанов язвил, что теперь уже

потребность бросить на произвол судьбы Киев подтверждена Его Императорским Величеством Верховным Главнокомандующим.

Горемыкин недоумевал, как же быть с киевскими святыми мощами, Государь говорил ему, что не следовало бы вывозить мощи, немцы их не тронут. Но Самарин извещал, что уже есть постановление Священного Синода, и вывоз мощей начался.

3 сентября опубликовали указ о перерыве думских занятий — но армия не *встрепенулась вся,* как грозили.

Главари блока узнавали внутриправительственные секреты через Поливанова и других министров — тотчас. Ещё до публикации указа собралось бюро блока на частной квартире. Тянулись руки — чем-то ответить обнаглевшей короне.

Ефремов: Если примиримся с роспуском — значит, говорили на

ветер. Первое средство борьбы: выход всех членов Блока изо всех Особых Совещаний.

Всегда невозмутимый и точный

В. Маклаков: Участие в Совещаниях не есть акт доверия правительству, а работа на Россию. Что ж, тогда пусть и Союзы прекратят работу — и Россия погибает? Если бы страна забастовала, власть, может быть, и уступила бы ей, но этой победы я бы не хотел. Наше лучшее реагирование на разгон — в том, что мы промолчим.

Ковалевский: Уход из Совещаний — как представит наш патриотизм? Союзники и нейтралы скажут: чтобы рассчитаться со стариком Горемыкиным, жертвуют обороной страны.

А. Оболенский: Один англичанин сказал, что русские предпочитают прекрасный жест реальному результату. В момент опасности для родины нам, видите ли, важно быть не полезными, а принципиально-правыми. Если немцы нами завладеют, а мы будем возлагать ответственность на правительство, скажут: мы дети. Нет, разгону Думы не дать разгореться в пожар.

Милюков: Первый шаг — свалить Горемыкина. А это возможно политикой сдержанности.

Поди, попробуй — сдержанностью! Вот была сдержанная программа — разве её оценили? Разве пригласили в правительство? (Просочилось и передавали, что царица сказала кому-то про городскую думу: «эти твари пусть канализацией занимаются».)

Отчуждение с властью было — непереходимо, непреодолимо.

Но — чем ответить? Не расходиться? Объявить себя Учредительным Собранием?

Действие перенеслось в Москву, главный центр противоправительственного раздражения. Московские круги придумали: создавать по всей империи «коалиционные комитеты» в поддержку блока. И — торопили съезды союзов Земств и Городов, по телеграфу созывали их экстренно на 7 сентября.

Тем временем императрица в ежедневных обширных письмах сообщала в Ставку и предупреждала:

Левые в ярости, потому что всё ускользает из их рук. Запрети съезд в Москве, это будет хуже, чем Дума. И думцы тоже хотят собраться в Москве — пригрози им, что за это Дума будет созвана позже. Я теряю терпение с этими болтунами, вмешивающимися во всё. Нужно твёрдо действовать, чтобы помешать им навредить, когда они вернутся. И следует крепко забрать в руки прессу: они собираются выступить с кампанией против Ани — это значит против меня, собираются писать о нашем Друге и Ане — всё для того, чтоб и меня запутать.

(И помощнику военного министра по цензуре было послано: запретить какие-либо статьи о Распутине и Вырубовой.)

Я уверена, что за всем этим стоит Гучков. Надо бы отделаться от него. Только как? — вот в чём вопрос. Теперь военное время, нельзя ли придраться к чему-нибудь, чтоб его запереть? Он стремится к анархии, и он противник нашей династии — отвратительно видеть его игру, его речи и скрытую работу... Ах, неужели нельзя было бы повесить Гучкова?.. Серьёзное железнодорожное несчастье, в котором он бы один пострадал, было бы хорошим Божьим наказанием и хорошо заслуженным.

А московские рабочие (теперь они чувствовали себя крепко: в армию их уже перебрали, везде не хватало, и начинали из армии возвращать) — на роспуск Думы ответили трёхдневной забастовкой, зримее же всего — стал московский трамвай. Ловя подорожавших извозчиков или прошагивая много кварталов пешком, осязали московские деятели эту тяжёлую убедительность материального аргумента. И начали склоняться, что всякая смута — помощь внешнему врагу.

Теперь кадеты жалели, что в недавних переговорах с правительством Блок не пошёл на большие уступки, Милюков и Ефремов не проявили достаточно гибкости. А что правительство мог бы возглавить князь Львов — никто серьёзно и не верил. Вполне достаточно было бы, если б Горемыкина заменил Кривошеин: он способен был двигаться как бы между курсом чисто бюрократическим и общественных поже-

ланий. Теперь, когда соглашение с властью стало невозможней, — и требования оппозиции смягчились.

Но как же вести съезды Союзов и что там говорить? Это обсуждалось накануне вечером на квартире у Челнокова, и собравшимся как бы для поджога настроения было представлено рождённое в кругах «Русских ведомостей», самой просвещённой, «профессорской» русской газеты, мрачное, даже замораживающее объяснение событий.

Будто бы: в противовес простодушному Прогрессивному блоку (враги называли его «жёлтым») тайно создан Чёрный блок. Они — германофилы, они уже разогнали от трона русских патриотов, создали безвольное правительство, удалили Николая Николаевича, захватили в свои руки Государя и рассчитывают, при его нерешительности, отвратить его от генерального сражения и склонить *изменить союзникам*! (Какой чёрный замысел! Да, теперь все действия власти становились понятны!) Пленнику Чёрного блока представляют такие аргументы: сепаратный мир укрепит династию, а при победе союзников царская власть, напротив, умалится и даже аннулируется; по сепаратному миру мы отдадим беспокойную Польшу, зато усилим русскую однородность за счёт русских областей Галиции. Железный союз всероссийского и германского императоров создаст грозный молот, могущий раздавить весь мир. (И как же мы не видели этой измены до сих пор?) Правда, Государь не может принять на себя такого бесславного поворота. Но если в России начнётся всеобщая забастовка, волнения, народ потеряет живую связь с армией, армия — веру в народ, — то вот и будет законная обстановка заключить сепаратный мир, якобы для спасения России, и ещё на революционные же круги и на думскую оппозицию всё свалить! Вот почему *власть и старается посеять в стране всеобщее недовольство и смуту*! Это власть мутит и толкает к мятежу. (Так родилась бредово и с этих дней язвила русскую судьбу уже до конца — разлагающая легенда, что русский трон готовит сепаратный мир.)

Какой изворот судьбы! Так именно либералы, ставшие теперь патриотами, только и могут спасти Россию от непатриотической царской власти!

И — что же надо делать? Какая тактика? А — всё напротив Чёрному блоку: удержать Россию от внутренних смут! (И рабочие пусть не бастуют, и трамвай — ходит.) Когда разрешат — спокойно возобновить сессию Думы, чтоб иметь трибуну для публичных разоблачений. И постепенно создавать «правительство доверия».

Собственно, съезды Союзов должны были заниматься практической помощью фронту. Но узнав, что родина на краю гибели, оба съезда, то порознь, то вместе, стали обсуждать *текущий момент*.

> М. Фёдоров: Теперь *не время для деловых разговоров*. Мы, очевидно, накануне вооружённого восстания!

(О, как давно оно грезилось, в своих таинственных пурпурных ризах!)

> Недалеко то время, когда штыки с фронта повернутся на Петроград. Мы должны спасать Россию.
>
> Шингарёв: Каждая наша война заканчивается победой общества и падением реакции: 1812 год — и декабристы! Севастопольская кампания — и освобождение крестьян! Японская война — и победа Освободительного Движения! Наступает решительный момент: для светлого будущего ещё один дружный натиск, и мы достигнем того, о чём мечтали лучшие русские люди!

(Осведомитель охранки докладывает и о кулуарных разговорах Шингарёва:

> Откровенно говоря, роспуск Думы даже вывел нас из серьёзного затруднения: всё, что относится к войне, уже было решено, и Думе приходилось перейти к социальным вопросам, а при их обсуждении развалился бы Блок. Теперь же мы демонстрируем единство.)

Затем Астров «читал по тетрадке убийственную критику всех мероприятий правительства». Но

> мы дошли до роковой грани, за которой для конституционной общественности уже нет пути. Революционерами мы быть не можем.
>
> Гучков: Подобно Блоку, нам всем надо объединиться и организоваться — не для революции, а именно для защиты родины от анархии и революции. Сделать последнюю попытку открыть Верховной власти глаза на то, что происходит в России.

На обоих съездах всё склонялось к тому, чтобы послать Государю депутацию и осведомить его о настроении всего русского общества (как это делали в 1905). А если депутация не поможет, то

мы знаем, что нам нужно будет делать.

Впрочем, резко возражал против депутации, считая её бесполезной и унизительной для общества, а ответ — известным заранее, присяжный поверенный

Маргулис: Время челобитных прошло. Сейчас — *требуют*, а не просят! И подкрепляют требования — *силой!*

Левое крыло городского съезда требовало не к царю обращаться, а прямо *к народу!* Прекратить обслуживание фронта и тыла, начать открытую борьбу с правительством!

Но большинством съездов избрали именно депутацию к Государю, чтобы раскрыть ему глаза, что правительство обманывает его, не желая доводить войну до победного конца. Голосовали за почтительный всеподданнейший адрес. Там — разные были слова, были и очень возвышенные:

Ваше Императорское Величество! Восстановите величавый образ душевной целости государственной жизни! Власть должна соответствовать духу народному, вырастать из него, как живое растение из земли. И нам, как и Вам, Государь, не дорога жизнь, лишь была бы сохранена Россия. В Ваших руках её спасение.

Были и грозные:

Зловещее препятствие — в безответственности власти... Отсутствие всякой связи между правительством и страной... На место нынешних правителей нужны люди, облечённые общественным доверием.

А между тем в съезд Городов уже стучалась делегация из семидесяти рабочих: раз города говорят — рабочие тоже хотят говорить!

Неуютно съезду, когда улица стучится в его дверь. Челноков настоял: никого постороннего! строго наш состав! (Погибла и репутация Челнокова — тут же, за дверью, написали резолюцию: позор либеральной буржуазии!) Так строго свой состав, что не пустили на съезд двух первейших любителей поговорить — членов Государственной Думы Керенского и Чхеидзе, примчавшихся из Петрограда! И подёргливый Керенский в кулуарах отводил обиду с товарищами рабочими, доверчиво беря их за лацканы: забастовок не надо, а создавать организацию для будущего планомерного... и тогда трусливая либеральная буржуазия...

Ну, а если (наверняка!) высочайший ответ депутации не будет благоприятным? Левые: тогда — «все пути переговоров с правительством исчерпаны!» — и *обратиться к улице!* Или (что подосадней?) — новый *съезд по дороговизне!* Казачий (тоже левый) делегат: «Теперь казаки — не те, что в Пятом году! Теперь правительству не опереться на казаков!»

Всё ж, при закрытии Земский съезд поднялся и крикнул царю троекратное «ура».

Кажется, это первый — и последний — раз за два десятилетия своего царствования император Николай II выдержал две недели волевого усилия в одном направлении, не сбиваясь.

И хотя всё взметнулось и вскричало, предвещая катастрофу, — тут же всё и улеглось. Не сотряслось бытие государства, и Россия не окунулась в бездну, и не потекла реками кровь. Вдруг даже окончилось самое грозное отступление этой войны. Давно ли эвакуирован Киев, считали пропащими Ригу, Двинск, опасались за Псков, — а вот остановились. Прекратилась беженская волна. Угомонялся тыл. И даже снаряды стали появляться. И теперь устояние наше даже можно было приписать новому Верховному Главнокомандующему.

Оппозиция не утихала, пожалуй, только в совете министров. Государыня зорко следила за министрами и сообщала в Могилёв, и понуждала:

Горемыкину невыносимо управлять министрами, которые отвратительно ведут себя по отношению к нему. Боюсь, старик не сможет продолжать работать, так как все против него. Он очень просится отпустить его. Щербатов отказался послать лиц от министерства внутренних дел наблюдать за сентябрьскими съездами в Москве. Поливанов показывает

Гучкову все военные распоряжения и все военные бумаги. Кривошеин тоже слишком много в контакте с Гучковым, он тайный враг и фальшив по отношению к Горемыкину, смотрит направо и налево, возбуждён невыносимо, ведёт подземную работу. А Сазонов — хуже всех, кричит, всех волнует и вовсе не является на заседания. (Но где взять человека вместо Сазонова?..) После заседаний они расходятся и рассказывают обо всём, что обсуждалось. Ненавистные министры, их оппозиция приводит меня в ярость! Мне так хотелось бы отхлестать почти всех министров и поскорее выгнать Щербатова и Самарина. Трусость министров вызывает у меня отвращение. Ты должен разнести их! Приезжай в Царское Село хоть на три дня. Твой приезд не будет отдыхом, а карательной экспедицией. Теперь ты должен показать им, кто ты, — и что они тебе надоели. Ты пробовал действовать мягкостью и добротой — теперь ты покажешь волю повелителя. И запрети Самарину увольнять Суслика (Варнаву, тобольского епископа). С Самариным — я теряю голову и прошу тебя торопиться. Не дай унижать Государя или его жену. Ты не имеешь права смотреть на это сквозь пальцы, это последняя борьба за твою победу. А как только уйдёт Самарин — ты должен пустить в ход твою метлу и вычистить всю грязь, которая скопилась в Синоде. Агафангела — услать на покой, других двух — убрать из Синода. Выгони всех, пожалуйста, моя птичка, и поскорее!

На 16 сентября все министры были приглашены в Могилёв. Они были больно поражены, что на вокзале их никто не встретил из важных лиц, и им пришлось завтракать в обычном вокзальном буфете. Затем они были провезены в губернаторский дом — и там на заседании Государь, с трудом сдерживаясь, произнёс как будто спокойную сухую речь — ответ на их коллективное заявление. Подписавшим министрам он выразил крайнее своё неодобрение: взгляд министров на принятие Главнокомандования был высказан ещё до окончательного царского решения — и совершенно непонятно, на каких основаниях было повторять. Государь высказывал, что теперь министры могут видеть и насколько они ошиблись по существу. Истинная Россия думает иначе (и Государь получает многочисленные телеграммы с выражением восторга). Суждения министров он объяснил «страшно нервной атмосферой Петрограда». Вот здесь, в тишине и спокойной обстановке, он смотрит на вещи иначе.

Ему воистину невозможно было понять это упрямое сопротивление своей самодержавной воле, которая не могла быть ничем, как угадкою Божьего Промысла.

Наступило мучительное молчание. Невозможно было министрам ничего не ответить, и трудно было что-либо сказать. В коротком обращении Государя можно было увидеть, как раз наоборот, признание его поражения: вот, он отодвинулся ото всех бурь и питается показными телеграммами. Ушёл от центра власти и центра борьбы, и как это может сказаться на судьбе России? Разве на нём держалась Ставка? Разве без него мог функционировать правительственный Петроград?

А можно было видеть и иначе: что они, министры, переоценили роль общественной негодовательной волны. Вот она и схлынула, а государственный корабль идёт. Их коллективное письмо было пережимом — расчётом на государеву слабость. Кривошеин ещё отвечал, что нельзя пренебрегать общественным мнением в такое критическое время, что надо дать обществу участвовать в войне (но оно сверх меры уже и участвовало), что правительство должно сотрудничать с народом (но — где был истинный народ? и тот ли народ в морозовском особняке?), — а между тем, он ощущал теперь, как при его собственной ошибке великое русское колесо не покатилось по какой-то незримой, но может быть лучшей колее. Оказалось, что фавор Государя, и фавор общества, и даже фактическое премьерство — это всё ещё не премьерство. Вот — движение шло без него, а его — оттирало в посторонние нежеланные советчики.

После царского реприманда было ясно, что министрам-бунтовщикам придётся уходить в отставку. 26 сентября были уволены Самарин и Щербатов. Тем более ясно теперь видя всю бестолковость, нестройность августовской пьесы — и со стороны общества, и со стороны министров, и справедливо не рассчитывая на царское прощение, Кривошеин понял, что, не дожидаясь отставки от царя, должен подать сам. (Да и не мог он задерживаться в реакционном правительстве, не позоря себя в глазах общества.) В ближайший свой доклад в сентябре же он и подал. Государь

сразу облегчился, почти обрадовался: теперь он не должен был сам увольнять своего долголетнего сотрудника. Но в сентябре это могло выглядеть как массовый уход министров, опять забастовка, — и он взял с Кривошеина слово хранить отставку в тайне ещё месяц.

Через месяц отставка его была объяснена расстроенным здоровьем, сопровождена самым похвальным государевым рескриптом и орденом Александра Невского.

И ещё оставалось решить о приёме земско-городской депутации. Императрица писала:

> Не принимай этих тварей, иначе будет иметь вид, что ты признаёшь их существование. Не позволяй им влиять на тебя, это будет принято за страх, если им уступить. И они снова подымут голову.

И правда, Союзы были невыносимы. Они занимались не своими делами, вносили в воюющую страну хаос, подрывали дух войск, теперь лезли и вовсе не в своё дело управления государством. (Но вы же сами их великодушно утвердили, Ваше Величество?..) И не были они настоящая сила, только очень громкий голос исходил от них. И на съездах уже прозвучали намёки о сепаратном мире (ещё не понятые Троном). И за прекрасными словами их адреса таилась мысль — научить монарха, ограничить его, а самим прорваться к власти. (По неопытности она казалась им сладкой.)

И ещё — саднило Государя воспоминание о приёме земской делегации в Петергофе, в 1905. Ведь он тогда с открытым сердцем поверил им и был милостив, а они потом — улюлюкали, и сами надсмехались над своей делегацией, и открыли, что это был — всего лишь манёвр.

И — опять?..

И указал Государь через министра внутренних дел, что не может принять депутацию по вопросам, не входящим в прямую задачу Земского и Городского союзов (помощь раненым).

И — всё верно. Так.

Но — когда-то же и к чему-то же надо было склонять самодержцу ухо, хотя бы в четверть наклона. Можно было представить, что в этой огромной стране есть думающие люди и кроме придворного окружения, что Россия более разномысленна, чем только гвардия и Царское Село? Эти беспокойные подданные рвались к стопам монарха не с кликами низвержения, или военного поражения, но — война до победного конца. Просила общественность — политических уступок, но можно было отпустить хоть царской ласки, хороших слов. Выйти и покивать светлыми очами. Всё это было у них неискренне? Ну что ж, на то ремесло правления. Нельзя отсекать пути доверия с обществом — все до последнего. Даже после пылающего лета 1915 года, сдачи Варшавы, грозного отступления, ещё многое можно было исправить добрыми словами. Всё же — смертельная рознь власти с обществом была болезнь России, и с этой болезнью нельзя было шагать гордо победно до конца.

Любя Россию, надо было мириться с нею со всей и с каждой. И ещё не упущено было помириться.

Но за десятками нерастворных дубовых дверей неуверенно затаился царь.

Пребывающему долго в силе бывает опрометчиво незаметен приход слабости, даже и несколько их — включая предпоследний.

20

Жил Шингарёв на Петербургской стороне, на Большой Монетной. Извозчики сильно подорожали, да уже за день перенял Воротынцев бережливую сжатость семьи, что оскорбительно мотать на извозчиков, а лучше добавить в нянино хозяйство (дрова подорожали вчетверо, мясо и масло — впятеро). И Верочка со смехом рассказывала, как один важный прокурор, опаздывая на доклад к министру, а трамваи набиты, а извозчики не попадаются, — нанял пустые дровни из-под угля и, стоя с портфелем, балансировал в них по Фонтанке. И с душевной свободой поехали брат с сестрой трамваем.

Уже повидал Воротынцев сегодня кусок вечернего Невского, и обидно сжалось сердце. Множество красиво одетого и явно праздного

народа, не с фронта, отдыхающего, — но свободно веселящегося. Переполненные кафе, театральные афиши — всё о сомнительных «пикантных фарсах», заливистые светы кинематографов, и на Михайловском сквере, в «Паласе», рядом с верочкиным домом, — «Запретная ночь» (подумал: мерзко ей), — какой нездоровый блеск, и какая поспешная нервность лихачей — и всё это одновременно с нашими сырыми тёмными окопами? Слишком много увеселений в городе, неприятно. Танцуют на могилах.

Теперь избежали Невского: скосили по Манежной площади мимо Николая Николаевича-старшего, невдали от Инженерного замка дождались синего и красного огоньков второго номера, уже не переполненного в вечерний час, — и повёз он их, как будто выбирая и показывая (да только уличного освещения не хватало сейчас), что́ есть покрасивее в Свято-Петрограде: с оглядом на Михайловский дворец через Мойку, Лебяжьей аллеей вдоль Марсова поля и прокидистым Троицким мостом с лучшим видом столицы оттуда налево — на Зимний со звеньями Эрмитажа, на стрелку Васильевского, особенно в тот миг, когда причудливые и мощные ростральные колонны, угадываемые в подсвете уличных фонарей, захватывают Биржу точно посеред себя и тут же, обращаясь, упускают. Одно светилось, иное было темно, но привычный взгляд вспоминал и в темноте всё равно как бы видел и контуры, и цвета, а больше — бурый нездоровый цвет петербургских дворцов.

Смотрел-то Воротынцев смотрел, и любовался с отвычки, но истого москвича не собьёшь, не смутишь: наша Москва — с душой, а тут — нет. Наша Москва всегда лучше.

Да и трамвай петербургский — не московский: у нас в трамвае незнакомые соседи разговаривают, здесь — тишина, только спутники между собой.

А там — успевай переводить глаза на крепость, всегда различимую на небе, если оно не вовсе черно (тёмный призрак, т а крепость и т а стена, напоминание всем будущим заговорщикам...). И покатил трамвай самым современным, самым лощёным проспектом столицы, успешливым соперником Невского. А вот уже и сходить. От Каменноостровского направо недалеко было им пешком.

Дорогою, подготовляя брата, Вера рассказывала ему о Шингарёве ещё, и он со вниманием слушал. По нужде Шингарёв стал и финансистом: профессоров-кадетов в Думе полно, а специалиста по финансам не оказалось, так взялся он. Знаменитые его бюджетные турниры с Коковцовым... Недоброжелатели из своих же кадетов зовут его дилетантом: мол, где-то надо остановиться...

— Нет, это ничего! — нравилось Георгию.

А прислушивался и к самому голосу сестры — тихому, уговорливому, что не болтает она по-сорочьи, но подаёт самое важное. Ещё от первой минуты, как увидел её тоненькую, миловидную на перроне, поразился, как мало думал о ней все эти годы, как мало чувствовал, что есть у него такая сестра — не яркая, не дерзкая, а взгляд такой понимающий, такой свой. И сейчас в трамвае: не потому, что твоя сестра, но правда же — какое скромно одушевлённое лицо. Человеку, кто направляется в трудную самоотверженную жизнь, только на такой и можно жениться: неслышно, неустанно, незаметно горы переворотит избранному, в постоянном некрикливом работливом скольжении. И почему, правда, сестрёнка, всё не замужем? Благодарность и даже влюблённость в сестру всё более забирали Георгия сегодня.

Рассказывала Вера, что Шингарёв одновременно и гласный петроградской думы и гласный усманского земства, и половину России объехал с общественными лекциями, с успехом невероятным:

— Он даже статистику так излагает, что заслушиваются люди. Не какой-нибудь блеск в его речах, он даже может и неправильно выразиться, а вот... искренность! захваченность!

Между тем, придерживая под невесомый локоток, вёл её Георгий

по Большой Монетной, и номера нарастали. Тут ещё немного пройти, и дома попростеют, будет граница приличного района, уже рядом с неприличным Выборгским.

— Он очень русский человек, но активность у него даже не русская, вроде твоей, почему я и думаю, что вы друг другу понравитесь. Больше всего он радуется, когда работать ему дают, не мешают.

— Слушай, а мы не наскочим на какое-нибудь кадетское сборище?

— Вообще ручаться нельзя, — тихо засмеялась Вера.

— А ты сказала — понедельник! Так ты меня в западню?

— Петербург! Жизнь в том и состоит, что друг ко другу всё время ходят и обмениваются—новостями, мыслями, теперь вот *списками*... Чем-то надо гражданские свободы заменять. И потом он — излюбленный депутат, к нему и незнакомые рвутся...

Вот был и 22-й номер, по фасаду отделанный под светлый плиточный кирпичик, значит постройки недавней. В парадное. Лифта нет, но лестница — шире обычной, можно рядом свободно идти троим, и окна лестничной клетки — трёхстворчатые, просторные.

— Пятый этаж? Всё-таки не понимаю. Такое положение в Думе, в партии — почему уж так стеснённо живёт?

Лёгким дыханием, несмотря на подъём, Вера объясняла:

— И даже за такую квартиру он отдаёт половину думского жалования. Депутатам платят весьма умеренно. Да по пятьдесят рублей теперь каждый отдаёт на думский санитарный поезд. Да — пятеро детей. Да — трём племянникам ещё посылает. Да он и аскет прирождённый: удобств не ценит, к еде равнодушен, сладкого совсем не ест. Он и сам вырос одним из шестерых детей.

— Вы так близко сознакомились?

Потолки не снижались, однако, ни на третьем, ни на четвёртом. На дверях квартир — узорчатые чугунные номера.

— Я сама, через меня, предлагали ему литературную работу — так он и не всякую берёт. А только — какая по душе. Хоть и бесплатная. Ну, вот ещё за лекции получает. Семья у него, правда, трудовая, поворотливая, особых забот не требует. А сам уж — и болен, на воды посылали. Годами без отпуска, месяцами без отдыха.

Из далёкого фронтового угла, из землянки представлялись главные думцы на некоей сияющей высоте, поставленные высоко над средними русскими гражданами. И вот не соединялось это теперь с рядовой петербургской квартирой и всем вериным рассказом. С тем большим интересом поднимался Воротынцев.

Лидеры кадетов, подобно знаменитым артистам, изображались на почтовых карточках. Так видел Воротынцев Милюкова, Маклакова, Родичева, Набокова — а вот Шингарёва почему-то нет.

А он сам и дверь распахнул, Андрей Иванович, — и каково это движение было, и всё сразу, охватимое одним взглядом, ещё не разделённое на признаки, открыто передавало, что этот человек из себя ничего не корчит, не строит.

— Здравствуйте, здравствуйте! Высоковато? Я, знаете, по сельской привычке терпеть не могу, чтоб у меня над головой ходили.

Энергично подал большую ладонь, жал не расслабленно.

— Зато, — пошутила Вера, — как и прилично теневому министру финансов — на Большой Монетной.

— Да разве вы ещё сельский?

— Вот, тринадцать лет по городам, а привыкнуть к городу не могу.

Правильно ли показывал первый взгляд, неправильно, но сердце Воротынцева всегда шло по нему. И сейчас, отстёгивая в передней оружие, зарадовался он, что можно со встречной открытостью, без чинов, без кривляний.

— Мы-то — в земле живём, над нами — всё топает.

Обе верины руки подхватил Шингарёв размашистей, чем это делают:

— Ну как хорошо! Как хорошо, что привели.

С первого вида и гласа вступал в душу этот человек.

Квартира вся в глубину, там кто-то ходил, был, выглянула девочка из другой двери, но кабинет Андрея Ивановича — тут же, первый. Тем же широким движением хозяин распахнул, пригласил и Веру, но та:

— Спасибо, спасибо, я — к Евфросинье Максимовне.

Узкая комната, ещё суженная книжными полками с обеих сторон да стульями, однако не свободными: на каждом стопы журналов, брошюр, бумаг. Проваленный диван — и тот не весь свободен, и на нём стопа. К единственному окну в глубину удвинут письменный стол, а уж на нём — тот ужасный разброс и наброс, который только одним хозяином понимается как осмысленный порядок.

А уж хозяин, в костюме домашнем, не новом, держится ещё и проще своего пятого этажа: вот, председательствует в военно-морской комиссии Думы и важен ему всякий понимающий человек с фронта, чтобы перенять наблюдения и выводы: сам же за всеми делами, думскими, партийными, лекционными, много не выберешься в Действующую, в этом году и в Европу катались на два месяца парламентской делегацией, и там успевай понимать. Мотался и на Западный фронт, поглядеть, — но наездом, посторонними глазами — что увидишь? А заседая в Совещании по обороне или в думских комиссиях, сколько надо чужого опыта собрать, соединить, стянуть, чтоб уверенно опираться. И он старается чаще видеть армейцев, очень нужны свежие оценки.

Та́к сейчас — сразу и говорить?..

Да знаете, фронтовому офицеру только и мечта, чтоб тебя послушали, ведь колотишься — пожаловаться некому.

На продавленный диван усаживая, а себе подтягивая плетёный стул:

— Так вы в какой армии сейчас?

— В Девятой.

— У Лечицкого? Кажется, хороший генерал, да?

Верно видит, молодец.

— Из лучших.

— Значит, вы — с самого, самого левого фланга?

— Как шутили до этой осени: мы — «крайние левые», левее всех социалистов. Того крайнего левого фланга, где был у нас бок защищён, а теперь румынами открылся. И потекло.

Вопрос — ответ, вопрос — ответ, — деловые, понимает, помнит. Да, да, с Румынией — всё самое горячее и непонятное. Как же Добруджу отдали? Как там Дунайский корпус? А что под Дорной-Ватрой? (И без карты всё представляет, молодец.) Почему же мы отступаем? А летние месяцы ваша Девятая ведь наступала, и удачно. Так — боевой дух сохраняется?

Вот ему что — боевой дух! Сейчас, сейчас, будем добираться, через румынские участки. Ждёт его узнать куда больше, чем он доведывается.

Но тут же и остановил Шингарёв — раз, и другой: дело в том, такая случайность, позвонил Павел Николаич, он тут, на Петербургской стороне, и собирается зайти, вот в течении часа...

— Павел Николаич? Простите, это...?

— Милюков. Такой случай жалко пропустить, ему тоже бы очень надо послушать! И Милий Измайлович придёт, Минервин. Вот мы бы все сразу толком вас и послушали.

Ах вот как, всё-таки затащила Верунька на сборище. Ну что ж, даже и забавно начинается Петербург. Даже и замечательно?

А пока — что? А пока Шингарёв, виноватый в задержке, и сам готов — отвечать, объяснять. Вот он весь, неукрывный, не похожий на думского лидера. Подстрижен, правда, как модно у общественных персон — бобрик, лишь чуть длинней. И на голове, в усах и в бородке уже

непоправимо двинулся тёмный цвет в проседь. Но в рассеянном свете матового колпака настольной лампы — вот эта карточка на стене: в белой косоворотке навыпуск, с кроликом на коленях — молодой лохматый весёлый цыган, прицыганенная порода, как много у нас по прежней степной границе, — и спросить неловко, вдруг не попадёшь, и не удержаться:

— Вы?? Неужели?

И самому не верится? — где теперь эти буйные неулёжные чёрные волосы враспад, эти глаза горячие, бегучие, — улыбка! вскочить в секунду! — бежать, скакать, делать!

Двадцать лет назад, даже не земский, вольнопрактикующий врач за пятачок. Тех сельских участков, ему намежёванных, скудость, убогость, невежество — как же вспоминаются нежно:

— То корова «не пришлась по шерсти» домовому — значит, продавай. То от скотьего помора голые бабы идут вокруг деревни и пашут... А эта «народная медицина»? Трудные роды, так свешивают мать вниз головой с печи и — гонца в церковь за три версты: просить батюшку открыть царские врата, чтоб роженице легче. А детям — *пригрызают грызь?* А — *умывают с уголька?*

Он как будто жаловался на народ? Но — не с презреньем, а с печальным состраданьем.

— В Усманском уезде, где у меня хутор сейчас, — поразвитей, почище, и всегда были. А в Ново-Животинном, где мы эту статистику проводили, боюсь, что и сегодня... К земле прикованы как обречённые. Уже безземельны, безлошадны, нищи, двор не огорожен, хата убога, живут уже не от земли вовсе, отхожими промыслами, а всё равно: земля! Копаются в последнем клочке.

— А когда вы последний раз там были?

— Да уже семнадцать лет. Сейчас — везде лучше, да, и даже несравненно, деревня — другая, но ведь я же не врал: в 99-м году так было: что зимой не хватало кислой капусты! не сварить щей! Кто же смел так довести деревню, скажите!?

Его голос нутряной, забирающе-искренний, повлажнел.

— Ново-Животинное стоит над Доном. Вдоль берега — мощные слои известняка. Известняк — ничей, как говорится Божий, издавна его ломали на строительные работы. Так нашёлся сукин сын догадливый, свой же мужик, наплевал и попрал это народное представление—*ничей*. И отеческое начальство ему помогло: в Воронеже сунул взятки, кому надо, и все эти залежи получил в аренду. И никто уже больше не смел брать известняка, все подчинились, деться некуда. Вот так разлагается народная душа — и непоправимо от нас уходит. И как же можно с этим — на пять минут примириться и не бороться?

Даже не видя бы приветливого лица Шингарёва, только один его голос слыша, тембр удивительный, нельзя было к нему не расположиться: этот голос, ещё рождаясь, ещё по пути, как будто снимал с души всё тепло, не жалеючи, не оставляя в запас, — и выносил на собеседника:

— Раньше ломали камень вольно, везли в город, от себя продавали. Теперь стали получать у арендатора, сколько заплатит, лучшему работнику 30 копеек в день. Вкапывались узкими шахтами, душно, сыро, керосиновый ночник, согнутая поза. Крепленьем уже никто не занимался, лишь бы заработать, верхние слои обваливались, особенно весной. То про одного, то про другого: «задавлен горой». Один молодой, кормилец семьи, не успел выскочить за товарищем — глыба в спину, паралич обеих ног, калека и хуже: отказал сфинктер прямой кишки, отходы не сдерживает. И вот лежит на соломе в тесной избе, без ропота, и родители, и жена тоже покорились: знать, Бог велел... Страстотерпец наш великий, безответный серый русский люд...

Пробрало Воротынцева — и тот сукин сын арендатор, и тот парень раздавленный... Верный человек Шингарёв — и понимает, что надо. Да,

он и солдатское горе поймёт, ему — и не стыдно будет открыть такое, что вообще офицеру стыдно. Они друг друга поймут! Удачно попал.

— ...Не перестанешь поражаться ему никогда. Но и надежды на него не удержишь: нет, сами они свою жизнь никогда не изменят. Вытащить их можем — только мы.

Каменоломня ли та. Дифтерит на грязной соломе. Или всё, что сгустилось в окопах за двадцать семь месяцев войны.

— ...И как же пять минут жизни отдать — чему-нибудь другому?.. Я пошёл в народ — лечить. Но, собственно, — и не лечить. Что ж прикладывать пластырь голодному и безграмотному? Нет, ты разгрузи его спину, ты просвети его нагнутую голову. С университетских лет меня и поразил этот разрыв: между торопливыми идеалами интеллигенции и покорной непросвещённостью масс. Разрыв — слишком опасный для страны, этак ей не сдобровать.

— Сегодня он — не меньше, — предупредил Воротынцев, уже о своём.

— Конечно, и сегодня не меньше, в том и беда, — не понял Шингарёв. — Тем хуже. И значит, задача не изменилась с конца того века: всеми силами, как можно скорей, сближать верхи с низами. В этом — решение всех русских вопросов. А нам времени не дают. Тогда — война началась, потом революция, потом реакция, теперь — опять война, ничего мы не успеваем. Сближать — а как? Мне казалось, что естественней всего врачу: он в каждую хижину входит как свой, желанный.

Так и вязалось у Шингарёва в те годы: сперва — санитарные условия деревенской жизни, а их не понять без крестьянского бюджета, а дальше надо понять и бюджет земства. Сперва — устройство амбулаторий, школьных горячих завтраков, яслей-приютов на время страды, а там — печатные работы, публичные выступления, в 26 лет — уже гласный Тамбовского губернского земского собрания, и борьба против князя Челокаева, главы тамбовских консерваторов.

Но что можно было сделать в земстве, если ему не давали даже поговорить спокойно, а его лучшие проекты возвращались с выговорами? Сами же допустили общественную мысль — и сами же потом надругались над ней. Всё больше вырисовывался конфликт с центральными властями, с правительством.

А это — совсем уже как бы не о прошлом, это сегодняшний день и есть, и этому полковнику тоже надо было отчётливо понимать:

— В 902-м году собрал Витте земский съезд о «нуждах сельскохозяйственной промышленности» — первый земский съезд! Все заволновались, везде отголоски. Выступил и я в Воронеже с докладом: «Что казна взимает с населения и что даёт ему взамен.» Так приехал давить нашу крамолу сам товарищ министра внутренних дел! И за мнения, высказанные не по нашему задору, а по запросу Витте, разносил уважаемых пожилых людей, не стесняясь ни возрастом их, ни положением, высмеивал, издевался. С той безбоязненностью, с тем хамством, которое так свойственно самодержавной русской бюрократии! Меня как букашку даже не вызывали, просто взяли под полицейский надзор. Но именно и было тяжело, неловко — остаться непострадавшим, когда вокруг крушат честных людей. Только когда ко мне пришли с ночным обыском — только тогда отлегло, стало чисто на душе.

Воротынцева уже брало нетерпение — начать бы говорить о своём главном, открыться самому, а то ведь придут помешают. Но не решался он прервать, когда так охотно рассказывал именитый депутат. Странно, Воротынцев эти же годы жил в России и самым напряжённым образом, а вот этого всего не знал, как и Выборгского воззвания.

И так он сидел, утопленный в старом диване, и выслушивал зачем-то давно изжитые подробности пятнадцатилетней давности. А Шингарёв — с плетёного стула, повыше.

Вот так и закручивался беспартийный врач во всепартийный водоворот. Сперва вступил в увлекательный для всех интеллигентов Союз

Освобождения. А стали объявляться партии — оказался кадет. Впрочем... Ещё в студенческой молодости, в рождественское гадание, Фроня — тогда курсистка и ещё невеста Андрея Ивановича, надписывала много билетиков, их потом лепили по развалу большого таза, а в тазу по воде пускали ореховую скорлупу со свечкой, кому к какому билетику пристанет. Шингарёву пристало: «Будет депутатом первого русского парламента.» Тогда ещё царствовал Александр III, и даже глаза зажмуря нельзя было тот русский парламент реально вообразить. А сбылось — точно. От Воронежа Шингарёв был уже и в 1-ю Думу первый кадетский депутат. Но воронежский кадетский комитет не хотел отпустить его в столицу, поберегли для Воронежа, и что ж? Тех первых неизбежно ждало Выборгское воззвание, тюремная отсидка, запрет политической деятельности — а Шингарёва избрали во 2-ю, потом и в 3-ю. Когда же запретили ему баллотироваться от Воронежа, то в 4-ю дружно выбрали по Петербургу, уже знали здесь его.

Это к тому всё рассказывалось, что ничего нельзя совершить, не борясь против власти. Да если вдуматься, так может так оно и есть? А с чем Воротынцев ехал — в том тоже ведь, как будто?..

Во Второй Думе никто не понимал долг народных избранников как работу-работу-работу. А будто нет ни России, ни народа, только партийное самолюбие. Крайне-левые кричали: «Такой Думы нам и не надо, провались она!» А кучка правых: «Вы и такой Думы недостойны, слишком много урвали!» И всё-таки разгон её был — щемящий день.

— Я предвидел, что государственный переворот пройдёт для народа как бы незаметно...

(Разве то был государственный переворот? Странно слышать, Воротынцев и не заметил, не запомнил.)

— ...Но и при всём ожидании тишина Петербурга и Москвы 3-го июня была поразительна. Не только волнений, но даже малейшего интереса, что с Думой произошло какое-то событие. На стенах — отпечатанный манифест, прохожие даже не останавливаются почитать. Гонят себе извозчики, тянут ломовые... Мы-то себя считали — «Дума народных чаяний», а разогнали нас — никто и не моргнул.

(Так может — и не была беда?)

И Шингарёв пересел к нему на диван, утонул в другом проямке. От воспоминаний к делу стал пристально проглядывать собеседника серыми допытчивыми глазами. Такая была в нём нестоличность, доступный уездный врач, в тревоге за собеседника готов и сейчас осмотреть его и выстукать.

А где Воротынцев был в то время?

Июнь Девятьсот Седьмого? Да здесь же, в Петербурге. Кончал первый курс Академии, экзамены. Честно говоря, ничего не заметил.

Так, так, кивал Шингарёв. Этого заболевания он и ожидал.

— В Третьей Думе всё же было согласие в работе. Но сейчас, в Четвёртой, всё заклинилось, ничего не идёт. От упрямства и тупости власти. А ведь война была бы для них самый благодарный период для сближения с общественностью! Не захотели. В прошлом году, после отступления и преступной сдачи крепостей наша военно-морская комиссия подала царю очень откровенную записку. И — никакого ответа не было. И это ещё, скажите, мы — в комиссии, хоть можем всё знать и обсуждать. А в Третьей Думе Гучков нас и в военную комиссию не пускал, объявив кадетов «не патриотами».

На открытость — открытость:

— Лично о вас, Андрей Иваныч, этого не скажешь, но если перебрать ваших товарищей по партии — какие они в самом деле патриоты? Я бы сказал: Александр Иваныч был довольно прав. — Смехом смягчил свою дерзость.

Шингарёв с горячностью:

— Если мы ищем народу добра — к т о же мы?

— Ну, по-разному можно искать, — смелел Воротынцев к своему.—

Если прочность России вам для того не нужна, Россия хоть развались, была бы свобода.

— Как прочность не нужна?? Мы желаем именно — победы! Мы строим все расчёты — именно на патриотизме населения! Это — одно наше спасение, неожиданный народный дар, целитель всех недугов, — это после всего, как над народом издевались!

И изглядывал Воротынцева, как своеобычного, но представителя того же народа. От него он ждал каких-то решающих слов, Воротынцев это почувствовал. Но — рядом, рядом маячила и та скала, бараний лоб, которая сейчас не разъединит ли их? Вот как, они уже патриоты — больше Воротынцева? Не решался напомнить Шингарёву, что он перед войной мешал военному бюджету.

Вжался в продавленный диван.

Очень закурить хотелось, но неудобно. В кабинете — густо-книжный воздух, и без табачинки.

А Шингарёв понимал так: всё, что сделано для войны, — не бюрократией! — но общественностью. И Россия должна была набрать полное военное напряжение к концу этого года, а к началу 1917 быть в апогее силы. Но всё разваливается — из-за тупого сопротивления власти. Тыл — шатается, не выдерживает.

Опять — тыл. Твёрдые цены, таксы, заготовки? Комиссии оборонная, бюджетная, сотни образованных людей с таблицами статистики, экономическими справочниками. И если что в России менять — так опять же таблицы, справочники, вот их всех спрашивать, а шашка, повешенная в передней, — бессильная палка против этого всего, хоть и две дюжины таких дурных шашек. Даже в Академии не изучали ни гражданского законодательства, ни органов управления.

А Шингарёв — всё пригружал:

— Какая-то чёрная полоса, никого не рождающая. Не рождаем великих деятелей. Покинули Россию и пророки, и великие писатели. Но самое удивительное: почему не выдвигаются полководцы? Третий год небывалой войны, какой Россия никогда не вела, 14 миллионов перебывало под ружьём, — отчего же Суворова нет? Ни даже Скобелева?

Полководцы?..

— Разрешите, я закурю?

Полководцы! Воротынцев ли не думал о них?! (И о себе...) Что они не рождаются — не случайность. Они — рождаются, но верхи служебной лестницы непроходимы для них, из-за тупости. На дивизиях, на корпусах, даже на армиях по сравнению с началом войны сейчас толковых генералов немало: вот — Лечицкий, Гурко, Щербачёв, Каледин, Деникин, Крымов... А выше — не пройти им. Ну, как и у вас с министрами.

Это — понравилось Шингарёву. И, уже нетерпеливо сплетая пальцы, он задавал вопросы такие, чтобы вырвать из груди полковника предвидимый и желаемый ответ. Что в армии — ещё неисчерпаемые возможности! Что сил её — хватит на все испытания до победы, и полководцы ещё просверкнут. Мы — победим, только освободите нас от этого гнилого правительства!

Но на такого полковника он попал, что ничего этого страстно желаемого тот обещать не мог и не хотел. И о правительстве, и о верхах, которые сам Воротынцев нисколько не уважал, — такой мольбы-обещания тоже не мог выговорить.

Полное взаимопонимание — только примерещилось обоим?

И росло желание начисто объясниться с Шингарёвым — и невозможное же, смешное положение для боевого офицера: приехавши с фронта, перед тыловым штатским вдруг выступить каким-то пацифистом. Как басу сорваться фальцетом. Они тут — за войну и за победу, а ты?.. Ишь как легко они — «набрать полное военное напряжение»! — ты набери его в окопе, крючась день за днём. Очень они уж тут воинственно-победоносны. Но чем прямей Воротынцев видел истинную народ-

ную нужду — тем трудней было, оказывается, выразить её на образованном языке.

А Шингарёв ждал: как же нам вытянуть войну? Чем мы для неё дорожились? что жалели? Столько жертв уже положив, как же мы смеем не искупить и не победить? Тени мёртвых подымутся, спросят: за что вы нас погубили?.. Да кадеты готовы атаковать правительство с любой новой силой!

Вот этот вопрос: а для чего же принесенные жертвы? каков же наш долг перед умершими? — всегда стоял поперёк и против нынешних мыслей Воротынцева. Этот долг перед умершими он чувствовал живее тех, кто мог ему возразить в Петербурге, — это были вереницы знакомых или теперь уже полузабытых лиц и имён, и со многими обстоятельствами их смерти, или закопки в землю, или отправки тяжело ранеными. Но всех их не забывая никогда, он ещё настойчивей слышал стон живых.

Ясно, что́ надо сказать. И кому ж говорить — председатель военной думской комиссии. И человек какой — не слукавит ни в малости. А выговорить — трудно. Начал издали:

— Ну, хотя бы первое что: сократить армию. Сильно сократить. Просто — на одну треть. Нам нужна армия не огромная, а отборная — почти б одних охотников, в решающие места. А у нас натянута уже не армия, а сбор да сброд. Мы пытаемся тем покрыть недостатки нашей военной техники.

— Так, так, — не удивился Шингарёв. — Такие мысли мы иногда слышим, — и вы, значит? В Думе вслух мы об этом не осмеливаемся. Но — работников на поля, да? И — меньше ртов кормить, меньше эшелонов на снабжение?

— Самое главное — меньше толкотни в окопах. Раненых на одну треть меньше. Воевать надо уменьем, а не числом. А запасные части сейчас? — батальоны чуть не в дивизию. Перегруженные скопища, гнойники, киснут без оружия, без дела, — поймите: уже в запасных полках у солдат создаётся ощущение своей фатальной — и бессмысленной! — обречённости. И приходят пополнения в полк — ничего не умеют, заново учи. Но у нас в военном ведомстве, в правительстве окостенели мозги: что раз большая война, то надо как можно больше солдат согнать. Уж *наверху* что задолбят—разве их переубедишь? разве им объяснишь?

Наверху?? О, это Шингарёву сверкающе понятно! Русское *наверху,* свисающее над каждым здравым вопросом, поперёк каждого здорового пути! — ещё бы! Так и думцы в парламентских прениях упираются в стену, а свалить голосованием — не такой у нас парламент.

Но не только наверху — а вот рядом, глаза в глаза, этого искреннего человека, одушевлённого одною Россией, — его ли можно переубедить? Уже раздумался:

— Возвращать рабочих на заводы массами? — пойдёт неудовольствие в армии, просьбы, нарекания: а почему не я? А крестьяне — тем более. Будет деморализация оставшихся. А что скажут союзники? В момент такой войны — подобие демобилизации? Они это воспримут как измену. Я в этом году много беседовал в Лондоне, в Париже, — я просто не представляю, как решиться промолвить им такое. Как доказать им, что этого требует дело, а не силы свои мы бережём за их спиной? Что на самом деле — не утеряна наша решимость воевать до последнего солдата и до последнего рубля.

Что?? Что Воротынцев слышал? И от этого самого человека!

— Андрей Иваныч! — заволновался он. — А как же новоживотинцев? Тоже — до последнего солдата? Вы... вы отдаёте себе отчёт: пехота — замучена! Крестьянин — не охватывает необходимости этих жертв, третий год подряд, он только видит, что кем-то и зачем-то принесен в жертву, и должен неминуемо или умереть, или покалечиться. Вы сами

сказали об этом арендаторе — вот так разлагается народная душа. Так вот так — она и разлагается!

Нет! Не понимал! Те же глаза в горячем блеске, переходящие к влажности, тот же вид задушевный, подкупающая интонация, — нет! не понимал! тот парень, задавленный в известняках, — был жертва не патриотизма, а тут — война, победа, союзники, исторический жребий России...

— Да разорвались бы эти союзники! — не выдержал Воротынцев.— А то они наши жертвы берегут! Да я б для них и предпоследним солдатом не пожертвовал.

Шингарёв был изумлён выпадом полковника:

— Но для такого крутого поворота?.. Но что и как пришлось бы делать?

— Ну, конечно, понадобились бы *решительные действия,*—с выражением сказал Воротынцев, однако ведь не представляя ясно таких, и не от этого собеседника, видно, добьёшься.

Но так удивителен был кадетский разгон, что это полное выражение и эти «решительные действия» Шингарёв понял всё в той же своей заведенной линии:

— Да, вы правы! Для спасения страны нужны решительные перемены! Поймите меня, — говорил он раскаянным голосом, — я не левый, я понимаю, что серьёзная ответственная партия даже в оппозиции должна поддерживать правительство, если то попало в затруднительное положение, иначе всё государство полетит — куда?.. Мои товарищи опасаются: если будем сотрудничать с правительством — как бы нам не изолироваться от левых течений. Или: как бы мы не разоблачали правительство слишком мало, и после войны, когда его будут судить... да дождёмся ли, что его будут судить?.. как бы не попрекнули нас тогда, что мы... Но я... я бы сотрудничал с ними до последнего! Я бы всё им простил, всё простил бы этой власти, если б знал, что и *там* сердца горят о народе. И *там,* просыпаясь в бессоннице, думают только о нём. Но нет, не горят! Не думают! — даже и белым днём, в вицмундире, за казённым столом. Они не понимают, не чувствуют, какие надвигаются на Россию события — неизбежные, скорбные, ужасные!

Жгуче застлало эти глаза доброго разбойника, он должен был прикрыть их.

— Правительство — в распаде. Царь, ведущий армию, — катастрофа. Возможно, мы подошли к самому обрыву. Скоро и Государственная Дума уже не сможет остановить народное движение!

Ого! Свободно ж тут говорилось. Смелей, чем в армии.

— Андрей Иваныч! — останавливал Воротынцев. — Неужели вы допускаете... можно допустить революцию?

Шингарёв глядел осушенными напряжёнными глазами:

— Для того мы, Дума, и существуем, чтобы революции не допустить. Мы — клапан, выпускающий лишнее давление. Революционный взрыв снимет ответственность со всех: вот он помешал, а то бы!.. И какой услугой Германии была бы революция! Мы — клапан, и выпускаем давление, сколько можем. Но если — власть не поддаётся никаким убеждениям? Если в правительстве зреют предательские мысли?

— Ну, это вздор! Такого нет.

— Ну как же? Если валят и сталкивают Россию в поражение?! — Его руки обречённо уронились на колени. — Увы, последний год я всё меньше вижу возможностей отвратить... Допускаю, что это уже не в нашей власти...

Раздался дверной звонок.

— Наверно, Павел Николаич! — обещающе, уважительно вскинул палец Шингарёв. Проворно поднялся, пошёл открывать.

Теперь и профессор Милюков! Ну, сейчас навалятся, только успевай соображать да возражать.

Воротынцев быстро докуривал вторую папиросу и спешил обдумать главную неправильность в последних словах Шингарёва: что тот уже сдаётся на революцию? — тогда бы тем более действовать, даже малыми подобранными силами, — не робеть, не зевать, время не терять. А вот что ещё у них неверно: почему они соединяют правительство с поражением? Не с поражением, а с измотом народного духа. Так-таки надвинулся бараний лоб и разъединял их. Они хотели — спасти войну, когда надо было: от этой войны — освобождаться.

За дверью слышны были два женских голоса, оживлённых. Шингарёв воротился один:

— Нет, не Павел Николаич. Это наши дамы, партийные.

Уселся в ту же ямку дивана, вспомнил, вернулся. Слова — обречённые, а тон уже, пожалуй, и одобрительный. Пронырнув сквозь отчаяние, он шёл к своему опять:

— Если станет революция роковой необходимостью — что ж? Остаётся только не приходить в ужас. Остаётся верить в чудо, что даже из революции Россия сумеет возродиться. Эта кровавая война, даст Бог, принесёт и полную свободу... — Не за себя одного он говорил, он многих знал, за кого: — Ещё будет у нас широкий расцвет общественных сил! Ещё появятся у власти светлые, разумные люди, уважающие свободу великого народа. Только не потеряем веру в будущее России! Надо верить в самодвижущие силы общества. Надо верить в народную правду!

На народной правде опять углубился, увлажнился голос Шингарёва — и на миг ему стало нельзя говорить.

В какой же суматохе их мысли! — еле успевал Воротынцев ловить: то — победа во что бы то ни стало, то — согласны на поражение, на революцию, лишь бы свобода?

Нет, это как-то у них соединялось:

— Зато после революции наберётся новых сил армия, как это было во Франции. Обновится командный состав. Укрепится дисциплина. Разольётся воодушевление — и войска...

— Вы так думаете? — Воротынцев хотел спросить без насмешки, но оттенок лёг.

— Мы все так думаем, — простодушно ответил Шингарёв. — А без этой веры как же бы можно годами... ?

О, святая вера, только отдайся. Но один полк—один *народ,* другой полк—другой *народ.* И тот же самый полк — утром один народ, вечером другой. А вообще всякий полк занимает только протяжение, содержит невыразительное число, а войну делают — охотники, разведчики, смельчаки, первые атакующие. Как и историю делает — отборное меньшинство.

Скомканно это, не всё, ему сказал. Не убедил.

Ну, а как же парень тот, перешибленный в известняке?

А Шингарёв своё:

— Я вот недавно почитывал историю Франции, конца XVIII века. Слушайте, какое страшное сходство! Так и привязывается мысль: да ведь это *наши* дни! да ведь это наша разруха! Да ведь это *наша* слепая безумная власть! Да ведь это наши неуспехи в войнах! Да ведь это *наши* змеиные слухи об измене наверху!

— Андрей Иваныч! Андрей Иваныч! — взялся всё-таки Воротынцев остановить его разгон, дружески взялся, обеими руками за обе его. — Не сами ли мы эти параллели нагоняем? А как бы усилия приложить — распараллелить? Мало нам хорошего — ту историю повторять. Как бы её — обминуть? Нет, я очень прошу — увольте нас от революции!

— Да, пожалуйста, уволю, — рассмеялся обаятельно Шингарёв. — Но получим ли мы что-нибудь взамен?

Правда, когда государство застывает в безвыходности — как должны все штатские смотреть на своих армейских: что же вы ждёте? по-

чему не поможете? И этот долг — Воротынцев остро и стыдно на себе чувствовал. Но как помочь? Он и приехал за тем: узнать.

— Конечно, — вздохнул Шингарёв, — умеренный государственный переворот бывает прекрасным выходом. Но мы, русские, нерешительны на такое. Даже может быть неспособны. Гучков говорит: власть не держится ни на чём, только толкни. Неправильно. Она на многом держится. На государственной машине. На инерции человеческих представлений. На корыстно заинтересованных кругах. На отсутствии мужества у подданных.

В «отсутствии мужества» был ли упрёк? намёк? Нет, это он обдумывал вслух. Да кроме мужества ещё ж надо сметить, сообразить, узнать, понять. Вам тут хорошо, близ самого центра. И опять наложился Гучков, как всё сужено и мало́ даже в раскидистой России.

— ...Так что по-русски больше остаётся надеяться, что как-нибудь *само, само*... Власть ли очнётся? — самое бы простое! — так не очнётся она. — Шингарёв сдавил темена с ещё густыми, но чуть седеющими волосами. — Это поразительное непонимание беспощадного хода истории! Что уступить всё равно придётся, так лучше же вовремя, лучше же мягче? — нет! Ни вершка не уступят, пока их не разнесёт! Не признают, что лестницы прогресса никому не миновать! И теми же ступенями, изжитыми на Западе, поплетёмся и мы, всё равно. Но тяжело за русский народ, слишком дорого мы платим за то, что другим достаётся дёшево. Вы не знаете легенду о Сивилле? Её приводили в первом номере «Освобождения»...

Какого ещё «Освобождения»? И спросить неловко.

Позвонили опять.

— Павел Николаич! — взмахнул Шингарёв с готовностью, и поспешно, — да он и всё время так двигался. Пошёл открывать.

Послышался мужской немолодой голос. На «ты». — «Приехал?» — «Ждём, нет ещё.» И вот уже Воротынцев поднялся приветствовать ещё одного видного кадета — несколько напряжённого, несколько ироничного или как бы играющего, с нарочито задолженным клинышком светлой бородки, с острым взглядом через пенсне.

— Милий Измайлович Минервин, член нашего ЦК и член думской фракции... А я как раз начал Георгию Михайловичу рассказывать легенду о Сивилле. Ты не расскажешь, у тебя лучше?

Конечно расскажет! Не прося повторить приглашения, нисколько не интересуясь, зачем этому непросвещённому полковнику легенда о Сивилле, нисколько не подготовляя вида своего, голоса или настроения, Минервин опустился на тот же диван, не замечая проямка, и засказывал сразу не одному этому слушателю, но целой аудитории, для чего артистически заработала его мимика, и голос, и таинственно заколебались тёмно-бордовые боковины исторической сцены:

— ...К римскому царю Тарквинию пришла она и предложила купить Книги Судеб. Однако, цена показалась царю высока, он не дал. Тогда Сивилла тут же швырнула часть книг в огонь — *а за остальные потребовала ту же цену!* Ца-арь заколебался, но всё ещё отказывался. Тогда Сивилла бросила в огонь ещё часть книг — *а за остаток потребовала ту же цену!!* Ца-арь, — Минервин многозначительно раскатывал это слово, тут выходя из исторических одеяний, — дрогнул, посоветовался с авгурами и купил остаток. Вот так!! — через пенсне на длинном шнурке от воротника Минервин посмотрел на публику, различил в первом ряду какого-то военного и объяснил ему мораль спектакля: — С исторической необходимостью торговаться опасно: чем дальше, тем меньше она уступает! И кто не хочет читать Книгу Судеб в её естественном порядке, тот *дорого* заплатит за последние страницы, за страницы развязки!! — И, спустясь со сценического помоста, уже тут, в комнате: — Это мы опубликовали четырнадцать лет тому назад. И что же поняли наши правители? Уступить обществу, уступить Думе и избежать

революции? — они упускали каждый год. Все годы. И в прошлом году. И даже в этом.

Позвонил в коридоре телефон. Шингарёв торопливо вышел. Вернулся:

— Павел Николаевич звонит, что задерживается.

БЕГИ-БЕГИ, ДА НЕ ЗАШИБИ НОГИ

Октябрь 1916 — ДОКУМЕНТЫ — 1

К ПРОЛЕТАРИАТУ ПЕТЕРБУРГА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Преступная война, затеянная хищниками международного капитала... Правящие классы, только выпустив все жизненные соки из народов противной стороны, скажут, что их задачи выполнены. Война несёт небывалые выгоды господствующему классу, давая громадные проценты на капитал.

Для России дело усложняется господством разбойничьей царской шайки. Над свистопляской зарвавшихся хищников парит двуглавый орёл.

Только объявив решительную ВОЙНУ ВОЙНЕ... ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭТА ВОЙНА! ВРАГ КАЖДОГО НАРОДА НАХОДИТСЯ В ЕГО СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ.

Да здравствует РСДРП!

Петербургский комитет РСДРП

21

На чётких кругах военной службы и в руки бы не беря газет, можно бы дозволить себе не одобрять кадетов или даже презирать их. Но попавши в их оживлённую быстроумную компанию, нельзя было не испытать смешанного чувства: лестности быть среди них приветливо принятым и растерянности от их знаний и осведомлённости. Два думских лидера — один порывисто-открытый, другой самодостойно-едкий. Две дамы — но не просто из женского большинства, не из тех, что при мужьях, а партийные активистки — сейчас занятые сбором книг, табака, белья, карамели и мыла («Петроград — защитникам родины»), вообще же — организацией чего-то важного, а в поведении — отменные равноправием, старшая (назвали двойную фамилию — Пухнаревич и ещё както) — и умом, и определённостью политических суждений. Младшая зато собою недурна; самое значительное хоть и не сошло с её языка, но так и дежурило в выраженьи её лица: что вот могла бы она очень важное сказать, но повода нет, то ли паузы. По сравнению с ними хозяйка была упрощена большою семьёй и никак не супруга депутата парламента. Зато пришёл ещё приват-доцент, экономист, молодой, в тёмно-роговых очках, весьма осмотрительный в высказываниях и сдержанный в чувствах. Но уж когда говорил — то убедительным вкусным молодым баском, не допуская сомнений. И больше, чем два кадетских лидера, вот этот именно доцент пригнёл Воротынцева: совсем молодой, совсем не известное имя, а сколько же знает и как явно умён! И сколько таких приват-доцентов в петербургском обществе? — море умных людей. И что они знают — того ты не знаешь. И пойди как-нибудь иначе завтра государственное развитие России — так к ним же придёшь и на спрос, они и укажут.

Но с этими-то и интересно, с военными он наобщался довольно.

Когда вышли из кабинета и знакомились, как раз приват-доцент обстоятельно объяснял, что в Петрограде сейчас живёт на миллион с четвертью жителей больше обычного. Не упустил продолжить (не потускнел и при Минервине), что вообще российские города составляли до войны 30 миллионов, то есть шестую часть Империи, а сейчас от передвижения масс — 60 миллионов. Потому и удваивается в трудности задача вырвать у деревни продовольствие. У крестьян — жадный дух наживы, нежелание везти хлеб, и если такую тенденцию не переломить, то это — начало общественного распада.

Он объяснял и довольно удивительное, но собеседницы его как будто это всё знали и тут же встречно объясняли ему своё — про правительство, которое, напротив, этого ничего не ожидало. Уже не хватает возмущения против всех нелепых шагов правительства. Общество и Дума отдали родине всё, что могли, и не общество виновато, что эти жертвы не принесли плодов. Причина всей разрухи — в традиции устраивать народную жизнь без участия самого народа.

И от этого момента таким послышался Воротынцеву весь разговор: будто собеседники и дальше наперёд всё знали, что скажет каждый другой, но необходимо нуждались встретиться, выслушать и высказать то, что все они вкруговую знали. И хотя все они были подавляюще уверены в своей правоте — но ещё нуждались укрепиться в ней от этого взаимообмена. И только Воротынцев совсем ничего этого не знал, отстал, не успевал вымолвить ни слова существенного, лишь ловил. Но уже и так ощутил, будто и его вкруживает в эту общую уверенность — да! да! он с ними заодно узнаёт, узнаёт, да уже знает давно нечто несомненное.

Ещё ловил для ободрения тёплые верины взгляды. Она, кажется, была очень довольна, ка...ми вышли они из кабинета, довольна, что привела брата сюда.

И вот столичная жизнь! — не созывали никаких гостей, не назначали никакого вечера, да и понедельник же! — но гости набрались, как будто все и по делу, и вечер сам составился, и надо было всех кормить. Впрочем, что ж за вечер, если дамы не в вечерних были платьях, а разве лишь блузка поновей, как принято у дам оппозиции (от курсистских времён наследовалась полунебрежность одежды как форма своих). И причёски у всех были гладкие, как можно меньше обращать внимания на свою наружность. Строгое узкое коричневое верино платье выделялось даже.

К ужину высыпали и три девочки, от четырнадцати лет и моложе, представлялись. Сыновей не было дома, а старший кончал уже и военное училище. (А ещё, предваряла Вера, теперь скользнуло по памяти, одна девочка у них умерла.)

Неловко отцу при посторонних, но рассиялся Шингарёв, поглядывая на детей.

А у Воротынцева не было никогда ни одного. Обязательным обрядом знал, что дети — цветы жизни, принято любоваться ими, задавать вопросы. Но сам не нуждался в этой связке.

Ну что ж, если Павел Николаевич не скоро — так и за стол? Как Вера и предсказывала, хлеб на столе только чёрный, да рыбное заливное, маринованные грибы, варёная картошка, квашеная капуста. Но, отдать справедливость этой компании, как пренебрежительны они к одежде и к продавленной мебели, так и к наложенному в тарелки. Убирали дружно, но ртов их как будто не касалось, а главное был разговор.

— Нет, *они* ничему не научатся!

— Нет, *они* безнадёжны!

— От самодержавия ничего добром получить нельзя!

У старшей дамы рукава были по локоть и казались как засученными к делу или бою:

— Скажем ясней: практическая деловая работа может начаться только с удаления этой власти!

У приват-доцента — два роговых надбровья, да составленных твёрдых предлокотья:

— Пока у нас самодержавие — ни на что нельзя надеяться. Без полной перемены правительства не остановить ни немцев, ни народного возмущения.

А Воротынцев выслушивал без чувства оскорбления. Да ещё с детства и с юности он повсюду, и в семье, был охвачен этой всеобщей нотой: что России хотели добра декабристы, и только продолжая их светлую традицию можно спасти страну. И что здесь сегодня все открыто хотели республики — тоже он не видел предосудительным. В военной среде так не говорится, не думается, но если взглянуть шире — добро для страны может придти в разных государственных формах. Как угадать?

А девочки охотно крепко ели, ни слова лишнего. Правда, хорошие девочки. Можно, конечно, вообразить это счастье: большая, дружная удачная семья.

Евфросинья Максимовна имела время пояснить: вот эта капуста — покупная, а вот эта — со школьного огорода, великолепную вырастили классом, лазарет снабдили и по девочкам разделили, и квасили сами. А грибы — из Грачёвки уж не по нужде военного времени, а заведено у них каждогодне. — Грачёвки?.. — Это в Усманском уезде, хутор покойного отца, достался Андрею Ивановичу как старшему из шести детей. Сад и огород управляемся обрабатывать своими руками, каждый год с весны до осени мы все там, кроме Андрея Иваныча. А уж землю, посевную и луговую, сами обработать не можем, а нанимать безнравственно, так отдаём соседям.

С пятью детьми забот — как с целой ротой, да.

И опять об этих тренепонятных твёрдых ценах. И Шингарёв оказался — уверенно за них. Не успевал Воротынцев связать, понять: если Шингарёв такой радетель деревни — а теперь, как ему толковали в вагоне, это — против деревни? Не успевал понять, но скользило без трения.

К чему-то скажи, не обдумав, такую фразу:

— Но твёрдые цены, вероятно, требуют и твёрдых рук?

Он даже ничего особенного в это не вложил, а так, по аналогии.

А ему сразу настороженно выдвинули:

— Но твёрдые руки не всегда бывают чисты!

— Но твёрдые руки обычно принадлежат твёрдым лбам!

Воротынцев не нашёлся и даже покраснел: не на него ли намёк? Повторяя постоянную ошибку новичка в чужом окружении, он забывал, что наблюдён и виден больше, чем наблюдает и видит сам. О нём уж тут, конечно, предварительно передали, но скорей — как о бунтаре против Ставки, который *пострадал за то, что...*

Кому-то ответил:

— Нет, я в кадетском корпусе не учился, я реальное кончал.

Обрадовались:

— Реалист?.. Так значит — не к военной карьере?.. Колебались?..

Тут бы как раз ему и подладиться, в цвет им, но он по правде:

— Я — не колебался, я — с детских лет. Но мой отец надеялся, что я передумаю, и уговорил на отсрочку, в реальное.

А Шингарёв за твёрдыми ценами видел и мрачней. Прозревал и сам пугался:

— Если война затянется — поздно уже будет говорить о свободном почине, о частном обороте: не пришлось бы объявлять, кто сколько *должен* продать, пропорционально своим запасам.

Минервин под строгим пенсне поднял строгий палец, как на думской трибуне, и будто стряхивая с пальца слова:

— Ни-ко-гда! Такого нарушения свободы... !?

Шингарёв — уверенно вполне:

— Словом «свобода торговли» пользуется и Протопопов, будь ост-

рожен. Теперь свободу торговли нам возвещает министр внутренних дел. Но это — свобода хищничества, а мы — да, за регламентацию, в интересах самого же населения. Таков парадокс. А что было бы с Россией, если, по принципу свободы, пустили бы частным оборотом, например, набор в войска? Так и с хлебом. Война требует жертв. Надо поглядывать, перенимать у врагов. Шутят немцы о нас: знаете ли вы страну, в которой всё есть — и ничего нет? У нас от неорганизованности обилие превратилось в недостаток. У них, от совершенства организации, при недостатке — и всем хватает. По всей Германии разъезжают кухни с дешёвыми обедами. Государство умеет всё взять, но умеет всё и дать. Отобрали наши в этом году свои Пинские болота — а они обстроены дорогами, как мы за сто лет не собрались.

Такой растепляющий человек, а вот голос раскатывается и повелительно. Не случайно он там, на верхах политики.

— ...Хотим побеждать — не избежать нам создавать организацию принудительную, как уже во всех европейских странах. Вся война есть принуждение, и никуда мы не денемся, всё равно затянемся в тот «военный социализм», который уже затопил Германию. И хлеб, и сахар, и чай, и керосин, — всё придётся централизовать, лишь бы вытянуть войну. У немцев — всеобщая трудовая повинность от 16 до 60 лет. И если мы хотим победы — не избежать и нам.

— Только у немцев, — решился вставить Воротынцев, — общество и правительство — союзники, а не враги, как у нас.

Но его возражения как не заметили: видимо, Шингарёва понесло на что-то своё, отклонённое от партийной линии. Не успевал приехать Павел Николаевич обломить эту ересь, но Милий Измайлович был достаточно тяжёлой артиллерией и сам:

— Позволь, Андрей Иваныч, ты что ж — становишься на сторону *правительства??*—И даже ужас прошёл ветром по кадетскому застолью и заставил всех откинуться. — Это — правительство носится с проектом милитаризовать рабочих, чтобы, видите ли, избежать нежелательных им забастовок. Рабочих — к станкам, как в солдатский строй? — Минервин вскинул нервную выразительную руку и стряхивал, стряхивал с пальца выразительнейшие фразы:—Но *наша* партия не может принять такой цены — для победы установить диктатуру. Ещё одно крепостное право? Для победы отнять последнюю свободу у народа? *Такой* ценой не нужна России победа! Мы—все заедино горим желаньем победы, да! Но *наша* победа — в том, чтоб одновременно отвоевать народу гражданские права!!!

Воротынцев жадно поглощал этот спор, слыша сразу всех, и второстепенные голоса тоже. Очень его поразило, как сочетается у них блистательная образованность — и категоричность решений, нужная для власти.

Кажется, все остальные были за Минервина. Но Шингарёв не поколебался:

— Тут они на верном и неизбежном пути, это неотразимый ход вещей — принудительная организация труда. Это — всеобщее требование современной войны, оно заставляет уклониться от идеала свободы. И установись завтра правительство общественного доверия — к тому же будет вынуждено и оно!

— Да?? Никогда!! — остро поглядывал через пенсне и остро посмеивался Минервин. — И если ты осмелишься повторить такое с думской трибуны — ты сразу станешь непопулярен!

Но как будто на той трибуне и почувствовав себя, глазами степняка загорясь, Андрей Иванович уже не по-комнатному:

— Что делать, осмелюсь! Да, настал момент жертвовать, соотечественники! Государство нуждается в вашем хлебе, мужички! В труде ваших рук, сограждане!.. И если у власти станут просвещённые люди, действительно любящие свой народ, — будет та-акой подъём! Рабочие ста-

нут к станкам безропотно! Хлеб потечёт — неудержимыми реками! Народ отдаст хлеб, как отдавал детей!..

Надкололся голос. Шингарёв в растроганности должен был отдышаться.

Зашумели во все голоса. Старшая дама с толстыми локотками не ждала ничьего перевеса или мнения, а решительно присудила:

— Ну, разве что при ответственном министерстве, тогда возможна и диктатура! А сейчас правительство нарочно создаёт трудности с продовольствием, чтобы вывести Россию из войны.

Младшая дама с руками тонкими, гибкими, но до запястий скрытыми блузочной тканью, не сробела поправить:

— Нас предупреждали не пользоваться термином «ответственное министерство»: это может нас поставить под удар черносотенной агитации. Надо говорить «министерство народного доверия».

Блузка у неё была тёмно-зелёная, а по ней — бурые всплески, непонятные.

— Можно говорить: «правительство из доверенных лиц».

Так это легко выговаривалось, скороговоркою даже, будто такое правительство уже существовало, всем хорошо известно, объявлено наперечёт — и к тому же замечательное и героичное, — а Воротынцев по фронтовой дикости не знал, пропустил? И спросить было неудобно, и места не оставляли для спроса.

Но явна была уверенность, что правительство такое будет желанным, популярным и спасительным. *Такому*-то, понял Воротынцев, и всё допустимо, а из рук нынешнего правительства и даром не надо!

— Прогрессивный Блок уверенно выведет Россию из тупика!

— Да неужели же общественность справится хуже, чем тупые бюрократы! Россией правят тупейшие из тупых!

— И что делать русскому обществу с этим правительством? Просветить дураков? — невозможно. Переубедить дураков? — невозможно! Десятилетиями жить в полной власти дураков, а чуть хочешь протянуть на помощь и свои руки — на тебя шикают: осторожней! все будем в пропасти!

— Но как наложить на себя узду молчания? Мы лишены инстанций апеллировать к правде!

— Они объявили войну — всему народу! И это — с 60-х годов!

— Правительство азиатского деспотизма, каннибальского кровожадия!

— Позиция умеренности к нему преступна как позиция предательства!

— А Милюков думает действовать в европейских манжетах!

— Да швейцары, дворники — и те знают правило: лестницу начинать мести сверху!

— Ка-дэ могут спасти Россию — но поступясь долей своей умеренности и в контакте с левыми.

— Надо было с самого начала блокироваться налево, а не направо!

— И одной только сменой министров общество не удовлетворится. Нужна — всеобщая амнистия! Нужна отмена еврейских ограничений.

И куда-то, куда-то все они (с участием и Верочки) — весь разговор — и вся мысль Шингарёва, смыкающая такие разные опоры крепким поясом по чреслам России, — куда-то всё понесло ещё сильней, покружило, или посыпало — заговорилось не меньше, напротив больше! громче! — они все, оказывается, только начинали разговоряться! — но несло их куда-то прочь от человека, желающего определить себе правильные действия. Смысл мелькал до того карусельно, его нельзя было придержать, да даже нельзя было не утянуться им. Несомненно звучало сквозь весь поток: о народных нуждах, что присутствующие отлично знают их, и выражают их собою, безошибочно могли бы их утолить. А правительство — никогда. Заведенный и ослабленный этим общим уверенным кружением — Воротынцев молчал и сползал.

— Против этой безумной власти наши парламентские действия — слишком слабый аргумент!

Нет-нет, господа, только парламентские! В *нашей* стране насилие никогда не будет признано правом!

— Два года мы *так* ждали известий о победах! А нам подсовывали какое-то потопление в Рижском заливе!

— Тут и мы, думцы, виноваты. Мы старались «не шуметь», слишком долго берегли престиж армии.

— Русский старый, вечный грех долготерпения.

Шингарёв в этой компании тоже изменился, не тот. Отчего всегда гнёт человека подделаться под общий тон? Да была завихривающая сила у этого кружения, и Воротынцев сидел несвойственным барашком, даже и лицом не решаясь выразить, насколько он всё-таки несогласен.

— Надо всегда помнить, что правительство неискренно с обществом!

(Ну, да и вы ему: говорите одно, а думаете другое.)

— Не-ет, с этим царём победа невозможна!

— Идти против народа, против Думы, когда неприятель вторгся в страну, — это и есть пособствование ему!

— А внешняя расстановка благоприятна для победы как никогда: извечный враг Англия — с нами! Недавний враг Япония — с нами!

И — идиотская операция союзников в Дарданеллах, подумал Воротынцев, да куда тут вставишь? Они были все — патриоты больше него: не согласны меньше, чем на полную победу.

— Чтоб отстоять Россию от немцев — нужна немедленная коренная смена режима!

— Совершенно ясно: они нарочно провоцируют тяжёлое экономическое положение, чтобы под этим предлогом выйти из войны!

Зацепился за эту ущербинку на гладком карусельном диске: позвольте, что-то не то! А перед 14-м годом не говорили вы наоборот: *они* нарочно провоцируют войну, чтобы выйти из будто тяжёлого экономического положения?

Однако он не осмеливался возражать. В этом общественном кружении подавительность была — властная. Впрочем, заметил он: рассуждения их были — всё самые общие. А по деталям-то они знали куда меньше Фёдора Ковынёва.

Но слова у всех как наготове, переполняя грудь и рот, и чуть куда щёлочка — выливаются, друг друга уже и не удивляя новизной.

— Россия — просто большой сумасшедший дом!

— Новые министры даже не стали переезжать на казённые квартиры: всё равно через месяц каждого снимут.

— Да гвардия готовит переворот, это всем известно! Переворот будет непременно, вот-вот!

Напрягся Воротынцев: да что ж это за переворот, если о нём так болтают?

— Иначе и быть не может! Общественное недовольство так велико, как не было и в Девятьсот Пятом!

— Господи, о чём ещё говорить, если Сухомлинова собираются выпустить из Петропавловки!

— Выхода нет! Вспышка народного недовольства должна быть опережена подготовкой революционных действий теперь же!

И всё больше поглядывали на Воротынцева: мол, это по его части? И если он, действительно, *прогрессивный* офицер — что скажет нам он?

А Воротынцев к тому и летел со своей катапульты — чтобы вмешаться!? Но теперь видел, что кажется не туда попал. И досадно было на себя, зачем он так поддаётся им безвольно, нигде ничего не может отстоять, возразить.

А варенья — три сорта, тоже из Грачёвки, свои. Уже пился чай, и

девочки уходили, всё говорение прослушав немо. Да наверно привыкли, не каждый ли день такое и слушают?

Позвонили в дверь. Павел Николаевич? Все насторожились, подтянулись. Шингарёв молодо вскочил, пошёл открывать. Прислушались — нет, женский голос. Мелодичный, и с неторопливым достоинством.

— Странно, — удивлялся Минервин.

Не уходила. Видимо, раздевалась. Но сюда не вошли.

Верочка сидела с братом рядом и прошептала:

— Профессор Андозерская. Как говорится, «самая умная женщина Петербурга».

— Да ну?

— Ну, знаешь, как принято в каждой столице насчитывать по пятьдесят «самых умных женщин»?

— Запрещеньями, стесненьями, подозреньями они сами же толкают людей в левых!

— Они — и не Германию больше всего боятся, а уступить общественному мнению у себя в стране. Для них и Земгор и военно-промышленные комитеты — всё крамола, везде революция! Уж заподозрить самодеятельный самоотверженный Земгор...

Держался-держался Воротынцев, но тут за живое задели. Нельзя не отодвинуться:

— Знаете, совсем уж так — бескорыстный — сказать нельзя.

Только это и произнёс, вот только это одно! — но сразу все насторожились! Замолкли так же дружно, как дружно говорили, — и на полковника! Приват-доцент поправил роговые очки, старшая дама надела черепаховые, от того очень грознея, ещё и при толстых быстрых локотках. Все ждали объяснений.

Начал — так вытягивай. (Верочка смотрела с тревогой.)

— У нас на фронте к Земгору... — (как бы это им поаккуратнее?) — ...отношение и такое и сякое. Делают немало, да... Хотя и странно, что, например, санитарное дело поручается любителям, не входящим в строенье частей. Делают немало, но и... штаты же велики, уж слишком. И все должности заняты почему-то не стариками, не инвалидами, а военнообязанными. Большей частью — молодыми интеллигентами... Дезертиры — у них санитарами... — Уже чувствовал слитное осуждение себе.

— Но ведь делают же — какое дело! — вырвалась старшая дама, первою изо всех. — Работают — для победы!

Ещё не возражали — ещё только напряжённо-неодобрительно замолчали, — а Воротынцев ощутил, что краснеет. Оказывается, вот что: совсем не просто среди них говорить. Послушаешь — так легко всем болтается, а начнёшь сам — почему, при ясности мысли, выглядишь смешным?

— И банный поезд — ещё не самое дальнее, а то — рытьё колодцев в пятнадцати верстах от передовой линии, или осушка болот, — могло бы и конца войны подождать... Удовлетворяют уже не действительные потребности армии, а придуманные. И раненых содержат неправильно. — Но под силой осуждающего давления: — Я сам как раз не считаю, что...

Солгал, скривил, отступил — да почему ж не получается? *Моё* мнение! именно я так думаю! Почему такая мямля, мысли не складываются, и краска на лице, позор! Какая-то тугая препятственная атмосфера. На генералов шёл — не боялся. Потому что там шёл — *революционно*. А здесь боязно: *реакционно*, самое уничтожительное.

Толкнулось — передать им рассказ Жербера, как подделывали знаки на снарядных ящиках, — но это никак! никак невозможно было бы тут объявить: и не поверят, и обрушатся!

Минервин поднял вещий палец:

— Но вы упускаете моральный фактор! В прошлом году, во время «великого отхода», во время народного отчаяния, — общественные силы загорелись священным огнём — и вдохнули его в ряды поколебленной армии.

За армию Воротынцев обиделся. И — резче:

— Ничего они в нас не вдохнули. И предпочтительней — не вдохновлять, а...

Пятьдесят лет вы жаждали идти *в народ*, вот и идите в народ. Народ — это пехота.

Но — не выговорилось. А:

— Хоть хаоса бы в работе не создавать. Нельзя же вести военное снабжение по трём системам сразу.

Не так, не так! — взволновались. Полковник не понимает и ловится на удочку правительственной агитации. Дело в том, что тупое правительство ведёт против Земгорсоюза травлю, обвиняет в пропаганде среди войск, даже в шпионаже, а потому велено нижним чинам не общаться с деятелями Земгора. И назначаются соглядатаи — в чайные Земгора, в питательные пункты, парикмахерские...

Эти чайные — как раз и первые разносчики всяких сплетен и революционных подзуживаний. Но уж — не возражал.

...Фу, тьфу, мерзкое шпионское само правительство! Вон, Андрей Иваныч сейчас вернётся, скажет: *они* и в холерные отряды не утверждали санитарных врачей — в Девятьсот Пятом арестовывали «холерный персонал», подозревая, что из-за них громят усадьбы. Не так им страшна эпидемия, как революция!

И Воротынцев — не возражал дальше. Да и что он там помнил о Пятом годе? — он в него не вникал. Отступил, смолк. Не потому, что неправ, а — *реакционно*... Да, приходят такие бумаги в дивизии: офицерам — следить за земгоровцами, ибо они ведут подрывную пропаганду и готовят революцию. Так — и ведут! И отчего ж бы им не вести? Устроились, привыкли, почувствовали себя в безопасности — и отчего ж им не накинуться на солдатские мозги? А правительству — почему ж запрещено отстаивать свою армию? Неприкосновенность личности — хорошо, но как с неприкосновенностью отечества? И что-нибудь подобное было и в тех холерных отрядах: как же в кипении революции самоуверенным полуобразованным фельдшерам — не поддать огоньку?

А вот сказать — неловко. Презирал себя. Хотелось уйти поскорее, что ли.

А общество — такое малое, но такое динамичное, разочарованно убедясь в сомнительности и этого полковника, — да и чего хотеть от законопослушной монархической императорской армии? — перекатило через него гремливым своим потоком:

— Вместо побед — издевательским «даром» суют нам «право» врезать императорский штандарт в национальные флаги!

— Единение царя с народом! — чувства юмора никакого!

— А краснорожую полицию, небось, на войну не посылают.

— В низах растёт раздражение. Народ *им* этого не простит!

Даже странно: так мало их, но так быстро успевали друг другу отзываться. Подумал о Верочке: а ведь она — часто с ними, вот она, кажется, это всё разделяет. Да это — нечто, похожее на болезнь: она передаётся от соприкосновения и никак нельзя устоять. Заливает, поддаёшься.

— Даже гимназисты отламывают гербы с кокард!

— Мы перевалили какую-то роковую грань и решительно идём к развязке!

— Правильно пишет горьковский журнал: пора перестать бояться того, что на полицейском языке называется «беспорядок»!

— Да власти очень быстро трусят! Это только кажется, что они — неприступно-крепкие. Эту трусость мы уже видели в Пятом году!

— Да в конце концов, *чем хуже, тем лучше!* И катастрофа тоже нас куда-то приведёт! Всё лучше, чем так позорно гнить!

— Смирение — позор! Если Россия не перегноилась в крепостничестве, то события — будут!

— Что-то должно произойти! Так дальше продолжаться не может!

И выдвинулся Минервин, вознёс напоминающий грозный палец для стряхивания:

— Кто столкнётся с *народом* — тот попадёт в бездну!!!

И вся его ораторская уверенность, белейший воротничок, точная увязка галстука и постоянное пребывание в Государственной Думе не только не мешали, но определённо окрыляли считать себя клином, пиком, вершиною того народа, от столкновения с которым и упадёт правительство в бездну.

Но если народ и есть пехота, то фронтовой полковник Воротынцев, пропустивший через свой полк несколько составов, и при настоятельной свободной манере расспрашивать даже между двумя перебежками,— узнал, запомнил, ёмко уместил в себе шестьсот — восемьсот — или тысячу лиц, характеров, жизненных историй. А Минервин? — скольких пехотинцев знал? Они всё время талдыкают о вине правительства — но как легко они сами, языками, толкают солдат в смерть. Как же это им всё легко видится из петербургской квартиры!

И почувствовал Воротынцев толчок освобождения из своего непереносимо-стеснённого, даже околдованного состояния. Потянуло его — оскорбить их на их территории! Голос его перестал быть извинчивым, возвратилась к нему свобода. Дерзко, громко, ко всем зараз:

— Вот вы, господа, повторяете и повторяете, что Россией правят тупые из тупых, министры сплошь дураки, и как бы вам хотелось лучших. А будем откровенны: общество совсем и не хочет хороших министров в России! Появись завтра хорошие — оно ещё больше возненавидит их, чем плохих!

И вот уж теперь не теснился, не ужимался, а если покраснел, то от задора.

Маленькая сумятица, но оправились тотчас:

— Хо-ро-шие? Да когда же в России были *хорошие* министры, назовите!

Ах, вас не берёт, неймёт? И в реванш за унижение, и следя, чтоб не угнуться ни на кивок, а проломиться по самой прямой, через общественное мнение и свист:

— Да уж не буду перечислять хороших, но был великий! Был — великий русский государственный человек, и кто из общества это заметил и признал? Его бранили, поносили хуже, чем Горемыкина или Штюрмера. И так он и ушёл — неузнанный, непризнанный и даже про́клятый.

Онедоумели дамы и господа, но ещё последняя надежда была, что не махровый этот полковник, а просто задурманенный: кого он имел в виду? Неужели... ? Конечно же, не... ?

— Столыпин, да! — взмахом руки дорубил Воротынцев и их надежды и свою общественную репутацию. Да вызывающе, да со звонкостью: — Пришёл человек цельный! неуклончивый! уверенный в своей правоте! И уверенный, что в России ещё достаточно здравомыслящих, прислушаться! А главное — умеющий не болтать, а делать, растрясти застой. Если замысел — то в дело! Если силы приложил — то сдвинул! Видел — будущее, нёс — новое. И что ж, *узнали* вы его тогда? Именно его смелость, верность России, именно его разум — больше всего и возмутили общество! И приклеили ему «столыпинский галстук», ничего другого, кроме петли, в его деятельности не увидели.

А что ж, галстук — это разве не метко? Галстук — это разве не символ?.. Поправляя свой собственный, Милий Измайлович готов был к разгромной тираде. Или к иронии. Или — пренебречь?..

Что ж тут отвечать? Как взрывом была выхвачена непереходимая яма. И если *такие* полковники слывут за бунтарей — то каково ж остальное офицерство, не бунтующее? И если Столыпина принять за выражение России — то эта страна, и так уж без прошлого, имеет ли будущее? И достойна ли выволакивания?.. Бедное, бедное наше общество! Несчастны передовые люди в этой дикой стране!..

Всё так, и на том бы можно расплеваться, развернуться, друг друга не видеть, — да ведь не в клубе это, не на улице, а в гостях, в квартире Андрея Ивановича, и как-то же надо прилично выйти из положения. Но даже простых вежливых слов после *этого* не хотелось произносить.

А Воротынцеву стало легко, и только беспокоил его испуг на верином узком побелевшем лице.

И вдруг положение спас Андрей Иваныч сам. Он, оказывается, уже был в комнате, за спиной Воротынцева, и слышал его выступление. Теперь он обошёл обеденный стол к одному из освободившихся детских мест, очень запросто уселся, одну руку вольно свеся через дугу стульной спинки, другою отодвинув испитую чашечку. Не тот раскатистый громкий оратор был, звавший к народным жертвам, — а очень смущённый и тихий... Неуверенно посмотрел на Минервина, на приват-доцента, на дам... И опять тем голосом нутряным, душевным, выносящим наружу все пузырьки тепла, облепившие внутренние стенки груди:

— Вы знаете... Удивительная у меня была со Столыпиным встреча... ещё во 2-й Думе... То есть в зале-то я его видел, конечно, много раз, слышал «не запугаете!» и «вам нужны великие потрясения», и, кажется, всё было ясно: душитель, властолюбец, карьерист, других оценок мы к нему не применяли. Его земельную реформу я сам в Думе резко осуждал, и искренне: затея чиновников, вносит смуту в каждое сельское общество, в семью, ломает вековые устои. И я же в Одиннадцатом году был первым подписавшимся под запросом против действий Столыпина по западному земству... Но несколько раз приходилось мне к нему обращаться о смягчении участи разных людей — и всегда он смягчал. Особенно помню первый раз. Моего друга, тоже земского врача, административно выслали из Воронежской губернии «за пропаганду среди крестьян». Откровенно говоря, он пропаганду и действительно вёл, ну проще: от пациентов не скрывал своих освободительных идей. Однако обидно отдавать друга на расправу, если я всё-таки депутат Думы? Взял и написал Столыпину письмо.

Андрей Иванович рассказывал виноватым тоном и сам себе удивляясь. (Это — сейчас, через восемь лет. А ведь тогда — встретиться со Столыпиным было всё равно, что предательство. Наверно скрывал.)

— Вдруг приглашает на приём. Иду. Стиснув зубы, враждебный. Встречаемся, в небольшой комнатке министерского павильона, вдвоём. Не в белом сверкающем думском зале, где под люстрами резчает каждая черта лица, и сами мы, и каждый звук речи усиливается в значении, — а в комнатке, с одним столом. Столыпин не только не напряжён, не сановит, не приподнят, а усталый, даже измученный. «Так вы — земский врач? Вот не знал!» — улыбается, и лицо просто мягкое, доброе, поверить нельзя. Борюсь с собой и не могу сопротивиться: он производит хорошее, да просто наилучшее впечатление!

Перевёл глаза и на Воротынцева тоже, усмехнулся ему добродушно, а всё в удивлении:

— Чувствую, что так можно поскользнуться, изменить принципам, но и сам не могу сдержать улыбки, приветливой...

А не всякому улыбка так идёт, как Шингарёву, с улыбкой его ни за кого не отдашь.

— ...доброжелательного голоса. Отвечаю откровенно: да, мой друг придерживается освободительных идей, но он нисколько не крайний, ни к каким сотрясениям призывать не мог бы.

Улыбка, растворяющая и тебя, и себя, — как ей отказать?

— Обещал. И сделал, воротили моего друга домой.

— Исключения только подтверждают правило, — жёстко напомнил Минервин.

— И другой раз, — Шингарёв своё. — Ходил к нему и умиловал члена Думы Пьяныха, эсера, за убийство — вместо казни на пожизненное заключение. Он возражал: Пьяных подложил бомбу в дом священника,

не хочу вмешиваться в суд, — а всё-таки помилование устроил. И ещё раз: осудили к смертной казни десять воронежских крестьян за убийство помещика. Я опять к нему: двое сознались, но не все же убивали, остальные невинны. Он мне: вы не знаете, за кого заступаетесь; если убийц не держать ужасом — они перережут всех, кто носит сюртук, и вас, и меня. Если они захватят власть — вы будете из первых, кого они казнят. Достал, показывает мне диаграмму: вот, смотрите, с каждым днём, как идут разговоры в Думе, — увеличивается число убитых, особенно городовых, стражников, помещиков. Террор растёт — и я за это отвечаю. И всё же — по телеграфу распорядился в Воронеж провести новое дознание.

И всем открытым лицом своим открыт Шингарёв всем сомнениям:

— И с тех пор я иногда задумываюсь: насколько грубы, громовещательны даже самые лучшие парламенты. Вот и английский, и французский, как мы этой весной повидали. Мечтаем — и нам бы так. А разобраться — мы все там ожесточаемся, говорим резче, чем думаем... А какая-то наверно есть высшая возможность — по-человечески убеждать даже самых лютых противников?

Уж там есть ли, нет ли, утопия, конечно, но Минервин протёр пенсне и обошёл молчанием.

Так ли, иначе, а взорванная Воротынцевым яма как будто и затягивалась плёночкой.

А тут — опять звонок, телефонный. Шингарёв поспешил — остальные прислушались. На этот раз — Павел Николаич!

Но Шингарёв воротился смущённый: просил дальше его не ждать, приехать никак не сможет, возникло срочное дело. И намекнул — что с Протопоповым.

С изменником Протопоповым? Вот как? Всю компанию так и резануло любопытством.

А пока там телефонный разговор — за спиной Воротынцева ещё один голос, женский, тот самый мелодичный, теперь что-то высказывал Минервину — и довольно самоуверенно.

Чтоб не сидеть спиной, Воротынцев обернулся. Маленькая неяркая женщина в английском тёмно-сером костюме, строго ровно держа небольшую голову с тёмными, как бы чуть всклоченными или запутанными в причёске волосами, доканчивала Минервину.

Да тут все знали всех! — и не представлялись, один Воротынцев новичок.

Он круто встал, шагнул, звякнул шпорой, приставляя ногу, — и хотя в этой комнате не целовал рук — тут наклонился к руке профессора Андозерской, почувствовал так.

Она приподняла маленькую кисть, подала ему. И улыбнулась. Её глаза открыто-одобрительно блестели.

Слышала она его взрыв!

* * *

Знаменитые сибирские полки! —
Все штыками как щетиной обросли.
Эй, говори!

Проходили мы варшавские мосты —
Все красавицы бросали нам цветы.
Эй, говори!

(Продолжение следует)

ВИКТОР КОРОТАЕВ



ДО КРАЙНЕГО ДНЯ

Диверсия

Когда беда врывалась в общий
дом, —
Пронзительно, решительно и смело
«Отечество в опасности!» — кругом,
Как вещий гром, над всей страной
гремело.
«Отечество в опасности!» — И шли
В любое пекло, выбраться отчаясь.
И не было клочка такой земли,
Где б отсиделись или отмолчались.
«Отечество в опасности!» — И нет
Ни времени, ни прав на промедленье.
Пусть разный, но единственный
ответ
На этот клич давали поколенья.
Сегодня нам ответствовать пора,
Друг другу строго вглядываясь
в лица,
Поскольку то, что сказано вчера,
По всем приметам нынче не годится.
Нам удалось сковать надежный щит.
Не дремлет и враждебная
прослойка:
Везде гудит, скрежещет и трещит —
Не просто так дается перестройка.
Никак с концами не сведем концы,
Огни неясно видимы в тумане:
Не зря объединились подлецы
И держат кукиш в собственном
кармане.
Втихую сыплют в шестерни песок,
Внедряют лжепроекты водовода.
У них отняли лакомый кусок,
И наплевать им на судьбу народа.
Их впору обличать через печать,
Громить из телерадиоорудий.
«Отечество в опасности!» —
кричать.
Но там сидят
Пока
Другие люди...

* * *

Откуда опять нанесло и нагнало
Нахальных и ветреных птиц?
Свободы им мало,
И денег им мало,
И мало продажных девиц.
Взывают они к трудовому народу,
Всегда презиравшие труд,
Едят нашу кашу и пьют нашу воду,
А песни не наши поют.
Откройте же им ворота и границы,
Оформите визы скорей.
Не может из них все равно
Получиться
Радетелей и сыновей.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Судьба популярного российского журнала под угрозой. Для третьего номера "Нашего современника" лишь чрезвычайными мерами и в самый последний момент удалось достать необходимое количество бумаги. Что будет со следующими номерами – неизвестно.

Кооператоры за бешеные деньги скупают у вас бумагу, а государственная система снабжения парализована хаосом и не может выполнить собственные планы и распоряжения.

Наши обращения в ЦК КПСС, в Госплан СССР, в Совет Министров СССР и РСФСР, в Министерство лесной и бумажной промышленности пока безрезультатны.

А ведь в России, которая дает стране 80% отечественной бумаги, – полмиллиона подписчиков нашего журнала и миллионы его читателей. "Наш современник" – язык российской гласности.

Мы обращаемся к руководителям бумажных комбинатов России, к ее инженерам и рабочим: чтобы мы с уверенностью в завтрашнем дне издавали журнал – поддержите нас, нам не хватает всего 1000 тонн бумаги в год. Не бесплатно. Мы можем платить за бумагу цену выше государственной, но, конечно, ниже той, которую платят вам хищные коопeратры и дельцы теневой экономики.

Есть вещи, которые дороже денег: это национальное самосознание и духовное возрождение Родины. Мы ждем понимания и помощи от вас, патриоты России.

Члены редколлегии, работники редакции
и авторский актив журнала "Наш современник"

80 коп.

ИНДЕКС 73274

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Продолжение романа Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
"Октябрь Шестнадцатого"
(из цикла романов "КРАСНОЕ КОЛЕСО")

Повесть Владимира КРУПИНА
"Великорецкая купель"

Повесть Бориса ЕКИМОВА
"Высшая мера"

"Послания" Патриарха ТИХОНА

Наш современник, 1990 № 3, 1–192.